

# ГРАНИ

GRANI

68

1968

---

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Juli 1968

## В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ПОСЕВ

Вышла из печати и поступила в продажу книга

### Проф. И. А. КУРГАНОВА ЖЕНЩИНЫ И КОММУНИЗМ

Стр. 264      Цена 14.--ДМ или 3,50 ам. дол.

В книге речь идет о положении женщины в стране строящегося коммунизма — СССР. Книга дает характеристику действительного положения женщины в СССР на основе советских источников. Книга имеет в виду всех женщин СССР, а не только женщин, занимающих видное профессиональное или общественное положение в стране. Материал в этой книге изложен в последовательной, ясной и доступной широкому читателю форме.

В книге 6 частей, состоящих из 21 главы. Часть I: Женщины в борьбе за равноправие. Часть II: Женщины в советском обществе. Часть III: Женщины в народном хозяйстве. Часть IV: Женщины в домашнем хозяйстве. Часть V: Женщина в семье. Часть VI: Женщины и дети.

Эта книга является, по всей вероятности, первой в литературе, посвященной именно только женщине и ее положению в СССР. Она ярко, просто и в то же время точно показывает трудную жизнь русской женщины в СССР и разоблачает лживые утверждения коммунистов. Эта книга интересна для русских и необходима для женщин в свободном мире, чтобы они знали, что им предстоит, если их мужьятолкнут свои страны на тот же путь, который проходит Россия. С этой точки зрения им следует прочитать также недавно вышедшую книгу того же автора:

### СЕМЬЯ В СССР

1917 — 1967

Страниц 332

Цена 18.--ДМ или 4.50 ам.дол.

В этой книге дается обзор развития семьи, подробная характеристика современной семьи в СССР и ряд предположений относительно семьи в будущем.

В книге 6 частей, состоящих из 20 глав. Часть I: Семья в историческом развитии. Часть II: Семья и революция в СССР. Часть III: Семья и государство в СССР. Часть IV: Семья и общество в СССР. Часть V: Семья и социализм в СССР. Часть VI: Семья и коммунизм.

Эти две книги дополняют одна другую. Прочитавший их получит впечатление, что — побывал в квартирах разных слоев населения, окунулся в семейную жизнь населения СССР, почувствовал трудную жизнь женщины.

Заказы принимает:

POSSEV-VERLAG, 623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

# ГРАНДИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

год издания XXIII

№ 68

1968 год

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

|  |     |
|--|-----|
| Из российской поэзии: Герман Плисецкий, Иосиф Бродский,<br>Александр Галич | 3   |
| ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ — Крутой маршрут (окончание второй части)                 | 9   |
| ЮРИЙ ГАЛАНСКОВ — Справедливости окровавленные<br>уста. Поэма               | 101 |

### ВОСПОМИНАНИЯ

|   |     |
|---|-----|
| ИОСИФ ШЕЙН — Последние дни Соломона Михоэльса | 106 |
|---|-----|

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

|  |     |
|--|-----|
| В. КРУПИЧ — Об особенностях поэзии Аполлона Григорьева | 119 |
| ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН — «Соловьиный сад» Александра Блока  | 132 |

### ПУБЛИЦИСТИКА

|  |     |
|--|-----|
| Е. ВАРГА — Российский путь перехода к социализму и его<br>результаты | 137 |
| ИВАН РУСЛАНOV — Молодежь в русской истории                           | 157 |

### О ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ

|   |     |
|---|-----|
| Д. ОРЛЕНИН — Ленгстон Хьюз — поэт черной Америки. «Хэппенинг»<br>— продолжение «тотального» театра? | 190 |
|---|-----|

## БИБЛИОГРАФИЯ

|  |     |
|--|-----|
| <b>Александр Больто.</b> Бердяев и Россия. — Арк. Слизской.  |     |
| «Диптих». — Л. Д. Память сердца. — <b>Александр Больто.</b> Анна Ахматова в итальянском издании. — <b>Ив. Сергеев.</b>   |     |
| Заметки о книгах   | 203 |
| <b>Список книг, поступивших в редакцию</b>   | 214 |
| <i>Обращение издательства «Посев» к литературной молодежи и студенчеству, к писателям, поэтам, литературным критикам, к деятелям искусства, науки и техники — ко всей российской интеллигенции</i> |     |

© 1968, Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

---

Издательство «Посев»

## Поэзия и проза

# Из российской поэзии

Герман Плисецкий

ИЗ ЦИКЛА «МИХАЙЛОВСКИЕ ЯМБЫ»

### *ДОРОГА В ТРИГОРСКОЕ*

Он гнал коня: в Тригорском ждут гостей.  
Гнал мысли прочь: повсюду ждут жандармы.  
За эту ссылку в глушь своих страстей  
кому сказать: «Премного благодарны...»?  
За эту крепко свитую петлю,  
за эту жизнь, сжимающую горло,  
кому сказать: «Благодарим покорно...»?  
Судьбе? Сергею Львовичу? Петру?

Задумавшись, он выехал из леса.  
Ширь перед взором распахнулась вдруг:  
налево, за холмом, была Одесса,  
направо, за рекою — Петербург.  
А на холме светился монастырь.  
Вокруг чернели вековые ели,  
кресты косые под стеной чернели...  
Святые Горы — называлась ширь.

Жениться бы, забыть столицы, став  
безвестным летописцем Алексашкой:  
Сверкать зубами, красною рубашкой,  
прилежно выводить полуустав...

Гремели слева синие валы,  
плыла в пыли походная кибитка.  
Гремели справа зимние балы,  
и усмехались сфинксы из Египта.

## К ВУЛЬФУ

Любезный Вульф, сердечный друг!  
 Из-за прелестницы Аннеты  
 мы не подыметем пистолеты:  
 любовь — ребяческий недуг.  
 Не шпагу, а билльярдный кий  
 я выбираю. Не убий!  
 Не пожёлай жену чужую!  
 А ежли я порой бушую —  
 так это, Вульф, игра стихий.

Не лучше ль мирная игра  
 на биллиардах в три шара?  
 Держись, приятель! Я — в ударе.  
 Я знаю все об этом шаре:  
 он уклонится от прямой,  
 внезапно в сторону качнется  
 и двух других слегка коснется,  
 как вас коснулся гений мой.

Люби себя. Веди дневник.  
 А мне оставь бессмертный миг  
 молниеносного удара.  
 И так всю жизнь: верченье шара  
 вокруг другого — карамболь!  
 А в сердце боль, сосед любезный,  
 для мастеров — предмет полезный:  
 годится в дело эта боль.

Иосиф Бродский

СТУК

Свивает осень в листьях эти гнезда  
 здесь в листьях  
 осень стук тепла  
 плеск веток дрожь сквозь день  
 сквозь воздух  
 завернутые листьями тела  
 птиц горячи  
 здесь дождь рассвет не портит  
 чужую смерть со слов тот длинный лик песок  
 великих рек ты говоришь да осень ночь  
 приходит  
 повертывая их наискосок  
 к деревьям осени их гнездам мокрым лонам  
 траве здесь дождь здесь ночь рассвет  
 приходит с грунтовых аэродромов  
 минувших лет в Якутии тех лет  
 повернут лик  
 да дважды дрожь до смерти  
 твоих друзей твоих друзей из гнезд  
 негромко выпавших их дрожь вот на рассвете  
 здесь также дождь ты тронешь ствол  
 здесь гнет  
 ох гнезда гнезда стук умерших  
 о теплую траву тебя здесь больше нет  
 их нет  
 в свернувшемся листе сухом на мху истлевшем  
 теперь в тайге теперь один вот след  
 о гнезда гнезда черные умерших  
 гнезда без птиц гнезда в последний раз  
 так страшен цвет вас с каждым днем все меньше  
 вот впереди смотри все меньше нас  
 осенний свет свивает эти гнезда  
 в последний раз шагнешь на задрожавший мост  
 смотри кругом стволы  
 ступай пока не поздно  
 услышиши крик из гнезд услышиши крик из гнезд

## ИЮЛЬСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Девушки, которых мы обнимали,  
 с которыми мы спали,  
 приятели, с которыми мы пили,  
 родственники, которые нас кормили и все покупали,  
 братья и сестры, которых мы так любили,  
 знакомые, случайные соседи этажом выше,  
 наши однокашники, наши учителя, — да, все вместе,  
 — почему я их больше не вижу,  
 куда они все исчезли?

Приближается осень, какая по счету, приближается осень,  
 новая осень незнакомо шумит в листьях,  
 вот опять предо мною проезжают, проходят ночью,  
 в белом свете дня красные, неизвестные мне лица.

Неужели все они мертвы, неужели это правда,  
 каждый, который любил меня, обнимал, так смеялся,  
 неужели я не услышу издали крик брата,  
 неужели они ушли, а я остался?

Здесь, один, между старых и новых улиц,  
 прохожу один, никого не встречаю больше,  
 мне нельзя входить, чистеньких лестниц узость  
 и чужие квартиры звонят над моей болью.

Ну, звени, звени, новая жизнь, над моим плачем,  
 к новым, каким по счету, любовям привыкать, к потерям,  
 к незнакомым лицам, к чужому шуму и к новым платьям,  
 ну, звени, звени, закрывай предо мной двери.  
 Ну, шуми надо мной своим новым, широким флагом,  
 тарахти подо мной, отражай мою тень  
 своим камнем твердым,  
 светлым камнем своим маячь из мрака,  
 оставляя меня, оставляя меня  
 моим мертвым.

Александр Галич

### ЗАКЛИНАНИЕ

Помилуй мя, Господи, помилуй, мя!..

Получил персональную пенсию,  
Завернул на часок в «Поплавок»,  
Там ракушками пахнет и плесенью,  
И в разводах мочи потолок.  
И шашлык отрыгается свечкою,  
И «сулгуни» воняет треской,  
И сидел бы он лучше над речкою,  
Чем над этой пучиной морской.

Ой ты, море, море, море, море Черное!  
Ты какое-то крученое-верченое!  
Ты ведешь себя не по правилам,  
То ты Каином, а то ты Авелем!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И по пляжу, где пód вечер по двое,  
Брел один он задумчив и хмур.  
Это Черное, вздорное, подлое  
Позволяет себе чересчур.  
Волны катятся, чортовы бестии,  
Не желают режим понимать!  
Если б не был он нынче на пенсии,  
Показал бы им кузькину мать!

Ой ты море, море, море, море Черное!  
Не подследственное, жаль, не заключенное!  
На Инту б тебя свел за дело я,  
Ты б из Черного стало Белое!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И в гостинице странную, страшную  
 Намечтал он спросонья мечту:  
 Будто Черное море под стражею  
 По этапу погнали в Инту.  
 И блаженней блаженного вó Христе,  
 Раскурив сигаретку «Маяк»,  
 Он глядит, как ребятушки вохровцы  
 Загоняют стихию в барак.

Ой ты, море, море, море, море Черное!  
 Ты теперь мне по закону порученное!  
 А мы обучены для этой химии,  
 Обращению со стихиями!

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!

И лежал он с блаженной улыбкою,  
 Даже скулы улыбка свела.  
 И должно быть, последней уликою  
 Та улыбка для смерти была.  
 И не встал он ни утром, ни к вечеру,  
 Коридорный сходил за врачом,  
 Коридорная Божию свечечку  
 Над счастливым зажгла палачом.

И шумело море, море, море Черное,  
 Море вольное, никем не прирученное,  
 И вело себя не по правилам,  
 Было Каином и было Авелем!

Помилуй мя, Господи, в последний раз...

Евгения Гинзбург

## Крутой маршрут

\*

...Скоро уж... Этими словами начиналось теперь каждое утро. Но нет. Это было еще далеко не так скоро...

— Честное слово, мне кажется, мы всё еще где-то в районе Ярославля, — с отчаянием объявляет Аня Шилова, отрываясь от окошечка. — Посмотрите-ка, Мина, вы как бывший географ.

Мина Мальская с трудом забирается на вторые нары. Ей около пятидесяти. Огромный партийный стаж. За тюремные годы Мина совсем сникла, сторбилась, стала лимонно-желтой. Часто жалуется на болезни, а этого в седьмом вагоне не любят. Неписаный закон: терпи молча. У каждого своего хватает. Вот Таня Станковская. Смотреть страшно, скелет один, а никогда о болезнях ни пол слова.

И никто не обращает внимания, когда Мина Мальская, забравшись-таки на вторые нары, хватается за сердце. Только спрашивают:

— Ну, где едем? Как там, по пейзажу судя?

— Гм... судя по флоре... Трудно сказать... Принимая во внимание сильный зной...

Рядом с Миной Мальской Аня Шилова выглядит такой молодой, энергичной, полной сил. Ее пьянят перспективы работы. Наплевать, пусть у черта на рогах, лишь бы по специальности.

— Девочки! Вечную мерзлоту руками рыть буду, ей-Богу! Всё равно ведь и там своя земля. Только бы не сидеть без дела. Поддержали бы в одиночке еще год, я бы головой об стенку... Что угодно вытерплю, только не безделье...

(В сорок четвертом жизненные дороги этих, так непохожих друг на друга женщин, двух верных членов коммунистической партии, закончатся почти одинаково. Аня Шилова умрет в лагерной больнице от болезни почек, нажитой непосильным физическим трудом. Умрет, испытав перед смертью ужас слепоты. Мина Мальская погибнет от инфаркта месяц спустя. На третий день после ее смерти придет на имя начальника лагеря телеграмма: «Прошу оказать необходимую помощь для спасения жизни моей матери. Военный корреспондент «Известий» Борис Мальский»).

...Теперь-то мы знали: до Владивостока. Там транзитный лагерь. Это точно знают меньшевички и эсерки. Оттуда — говорят они — скорее всего на Колыму. Но это еще далеко, об этом можно пока не думать. Лишь бы кончился седьмой вагон! Лишь бы напиться досыта водички!

Возбуждение первых послеодиночных дней спало теперь окончательно. Кончились споры на отвлеченные темы. Кончились даже стихи. Все беспощадно поняли: больше месяца до Владивостока, если такими темпами.

Душно. Так душно, что кто-то своим умом доходит до слова душегубка, тогда еще неизвестного. Пыль. Пот. Теснота. Но самое страшное — жажда.

— Девочки! — детское лицико Павочки Самойловой полно мучительного удивления. — Почему говорится: «Тот не герой, кто сна не борол». По-моему, правильнее будет: «Тот не мученик, кого жаждой не пытали...».

Почти никто не ест соленую баланду. Она хоть и жидккая, но после нее еще страшнее хочется пить. Селедочные хвосты в ней варятся. Конвоиры выносят почти всю баланду нетронутой.

— Гражданин начальник, — обращается Фиса Коркодинова, староста, к Соловью-разбойнику, — я от всего вагона с просьбой к вам. Ту воду, которая на баланду употребляется, отдайте нам простой водой. Хоть умьтесь бы! Глаза промыть нечем, гражданин начальник. Ну что это — одна кружка в день! В ней и стакана нет. Совсем доходим... А баланду и так никто не ест. Зря два ведра воды на нее идут. И умылись бы, и постирались бы этой водичкой... Женщины ведь, гражданин начальник...

Соловей-разбойник сердится.

— Вот что, староста седьмого вагона, это нам с вами никто права такого не давал, чтобы самолично режим менять. Положено — горячий харч раз в сутки этапникам, ну и обеспечиваем. А вам дай заместо баланды воду, вы же сами потом жалобы стро-

чить в ГУЛАГ начнете. Дескать, нам воду, а наварку себе... Тем более, вы всешибко грамотные, писать мастера. Так что режим меняться не будет.

Страшно смотреть на Таню Станковскую. Кожа у нее шелушится всё больше. Зубы стали длинными и неровными, вылезают вперед из шершавых губ и торчат, как колья в старом расшатанном заборе. И хотя Таня по-прежнему — ни слова о здоровье, но все видят: у нее страшный понос. Двадцать раз в день она слезает с третьих нар и пробирается, гремя баxилами, — седая, страшная, всклокоченная, — к тому углу вагона, где зияет огромная дыра, заменяющая парашу.

— Муся! Доктор Муська! Обрати внимание на Таню! Ты ведь врач...

Доктор Муська пожимает плечами и трясет косичками.

— Беда с этими филологами! Врач... врач... Просто фетишизм какой-то! А что может врач в седьмом вагоне? Ну, ладно, предположим, я назначаю больной Станковской усиленный подвозд витаминов в организм, внутривенные вливания глюкозы с аскорбинкой, постельный режим... Да еще, конечно, обильное питье... Эх, Женечка, пеллагра у Татьяны, а пеллагра это — три Д. — Муся шевелит губами, вспоминая. — Тут всё перезабудешь, что и знала! Три Д. Одно Д точно помню — это дематит. Замечашь, как она вся шелушится, кожа с нее слезает. Второе... Второе Д — это, кажется, диарея. Понос, то есть. Сама видишь. И ничем этот авитаминозный понос не остановишь.

— А третье Д?

— Третье? Ну, третьего, по-моему, у Тани еще нет. Это деменция... Слабоумие... Расстройство психики.

Нет, третьего определенно не было. Это я знала точно, потому что вечерами Таня часто звала меня к себе на верхотуру и там делилась со мной совсем не слабоумными мыслями.

— Ханжей ненавижу, Женя! Вот тебе Оля Орловская нравится. А я видеть не могу! Как вспомню ее стишата «Сталин, солнце мое золотое». Ну что это? Ведь если там, на воле, еще, может, можно заблуждаться, то здесь-то, в седьмом вагоне, в седьмом кругу Дантона ада, кем надо быть, чтобы продолжать молиться на отца, вождя, творца? Или идиотом круглым, или ханжой, притворой!

— Тань, а Тань! Давай заявим Соловью, что ты очень больна. А? Может, у них какой-нибудь захудалый санитарный вагонишко есть?

— Юмористка ты, Женя!

— Нет, правда... Ведь был же в Ярославке врач, и даже гуманный. Я его Андрюшенцией прозвала. Помнишь, когда в прошлом году форточки закрыли на ключ?

— Немножко помню. Тогда я, в основном, такая и стала, какой ты меня сейчас видишь. Кислородное голодание...

— Ну вот, и я тогда болела очень. Сердцем... И Андрюшенция гуманизм проявил. По его распоряжению мне увеличили срок проветривания камеры с десяти минут до двадцати. Давай спросим про санитарный вагон, Таня? А вдруг есть?

— Карцер у них в их хвостовом вагоне оборудован, это да! Фиса говорила. А насчет санитарного вагона — это твои девичьи грэзы. Люблю тебя, девка, за доверчивость. Ты да Павка Самойлова! Чудаки... Из Ярославки взрослыми детьми вышли. Ладно. Довольно про бренное тело говорить. С ним — дело конченое. Я тебе хочу одну свою тайную муку сказать. Думаю, — поймешь. Слушай, не могу я на Надю Королеву смотреть. Совесть мучает. Будто сама не сижу с ней рядом...

Это понятно мне сразу, без уточнений. То же странное чувство стыда и личной ответственности я испытала летом в Бутырках, попав в камеру к иностранным коммунисткам.

Я гляжу Таню по костлявому, совсем неживому плечу и тихонько шепчу:

— Понимаю, Танюша. Мне самой в Бутырках до смерти стыдно было перед Кларой. Немецкая коммунистка... Чудом вырвалась из Гестапо. Всё мне казалось: я в ответе за то, что она в Бутырках.

Духота стущается, становится скользкой. Ее можно пощупать. Как назло, июль всё жарче. Крыша седьмого вагона раскалена, не успевает остыть за ночь, не помогает и то, что на ходу поезда двери вагона закрыты неплотно, и в широкую — с ладонь — щель пробивается ветерок.

Перед каждой остановкой на станциях, когда состав еще больше замедляет свой черепаший ход, конвоиры идут вдоль вагонов (вдвое быстрее поезда), захлопывают до отказа двери, укрепляют дверные болты. Потом, отъехав от станции, поезд снова останавливается в чистом поле, и конвоиры восстанавливают спасительную щель в двери. Сидеть у этой щели можно только в порядке строгой очереди.

Остальные, кому не дошел черед ни до оконца, ни до дверной щели, лежат обессиленные на нарах, избегая лишний раз пошевелить растрескавшимися губами.

В головах у каждой — неуклюжая глиняная кружка, похо-

жая на детскую песочницу. Она — источник страшных волнений. Как уберечь воду от расплескивания? При толчках вагона? При неосторожном движении соседа?

Некоторые предпочитают выпить всю дневную порцию с утра. Те же, кто бережет воду, чтобы время от времени пропускать по глоточку до самого вечера, не знают ни минуты покоя. Все смотрят на кружку, дрожат за нее. То и дело возникают конфликты, грозящие полным разрывом отношений между вчерашними друзьями.

Теоретики седьмого вагона — Сара Кригер и Лена Кручинина — лежат сейчас спинами друг к другу. Не разговаривают. Кровная вражда. Сара полезла в карман своего бушлата, чтобы достать бинтик, выпрошенный еще у ярославской медсестры. У Сары в кровь стерты ноги. Из-за бахил. Она маленькая, ей надо тридцать третий номер, а выдали мужские — сорок четвертый. Полезла, да и толкнула локтем Ленину кружку. Пролила часть воды. Порядочно. Со столовую ложку. Вопыльчивая Лена чуть не ударила Сару. Та округлила глаза, зашелестела громким шепотом, перекатывая во рту картавое «р-р-р».

— Отдам, завтра же отдам... Замолчи... Не безумствуй! Не теряй лица! Здесь есть беспартийные...

Но Лена не в силах побороть приступ гнева. Ее щеки становятся ярко-красными.

— Не только беспартийные! Даже меньшевики и эсеры. Из этого не следует, что надо ворочаться, как бегемот на льду, и проливать чужую воду!

(Лена Кручинина сделает в лагерях карьеру. Ей удастся найти путь к сердцу жестокой Циммерман, начальницы женского лагеря.

И Циммерман сделает для Лены исключение — назначит ее в лагобслугу, куда положено назначать только надежнейших бывших товиков и уголовников, а никак не «врагов народа». От Лены будет зависеть, кого придержать в зоне. Лена подружится со старостой лагеря, уголовницей Дидкой-красючкой, и они вместе будут стоять на разводах рядом с начальником режима. На них будут аккуратные телогрейки, валенки первого срока, а на руках — теплые варежки, связанные актированными старушками из немецкого барака. Уже через год многие бывшие соседки по седьмому вагону будут называть Лену «чертовым придурком», а те, кто надолго сохранит манеру выражаться по-интеллигентски — «лукавым царедворцем»).

...Как случилось, что однажды конвой недоглядел, оставил щель в седьмом вагоне во время стоянки? По-человечески понять можно, у конвоя тоже было дел по горло. Одни счеты да пересчёты чего стоят! Считали они свое «спецоборудование» дважды в сутки, хотя куда ему деваться из плотно запертого вагона?

И произошло чудо.

Через щель в седьмой вагон стали проникать звуки обычной человеческой жизни: смех, детские голоса, бульканье воды. Это было почти невыносимо.

Не меньше двадцати этапниц приникли к щели, мостясь одна на другую. Маленькая станция, затерянная в уральской глухи. Обыкновенная станция. Босоногие мальчишки торговали яйцами, сложенными в шапки. На ржавой дощечке, прибитой к дощатому строению, было написано: «Кипяток».

На этот раз я отчаянно отстаивала свое место под солнцем. И мне удалось занять выгодную позицию — в самом низу... Всем своим существом я жила теперь жизнью этой маленькой станции, твердя про себя:

«Господи, сотвори чудо! Пусть я вдруг стану самой последней, самой бедной и невзрачной из этих баб, сидящих на корточках вдоль платформы со своими ведёрками и горшками в ожидании пассажирского. Я никогда не пожаловалась бы на судьбу, никогда, до самой смерти. Или пусть я стала бы вон той дремучей старухой, что палкой нащупывает облезлые грязные доски деревянного настила. Ничего, что ей осталось, может, несколько недель или дней. Всё равно она — человек, не спецоборудование...»

Самое мучительное было видеть приоткрытый водопроводный кран и струящуюся из него воду. Подошел какой-то парень, голый по пояс, и, нагнувшись, подставил смуглую, в белых расчесах спину под струю.

И кто-то в седьмом вагоне не выдержал. Чья-то рука с глиняной кружкой просунулась в щель вагонной двери.

— Воды!

Потом, когда всё это кончилось, многие говорили, что всё прошедшее напоминало сцену из «Воскресения».

— А, батюшки! Никак арестантский! — Это одна из баб, сидящих на корточках у своих ведёрок с огурцами.

— Где? Где?

— Дак надо милостыньку им. Эй, Даша!

— Яйца-то, яйца давай сюда!

— Пить, вишь, просят... Молока неси, Манька!

Обветренные, заскорузлые руки стали просовываться в щель

седьмого вагона с солеными огурцами, с кусками хлеба, ватрушек, с яйцами. Из-под спущенных до бровей платков на этапниц смотрели вековечные крестьянские бабы глаза. Жалостливые. Налитые благородными слезами. Кто-то плескал в протянутые кружки молоко, а оно разливалось, оставляя круги на «сырой земле».

— Одни бабы, гляди-ко...

— Да, может, в других вагонах и мужики есть. Кто ж его знает?

— Господи, може, и Гавриловых Ванятко тут где-кось?

— Пошто же воды-то им не дают, ироды? Подь, Анка, нацеди ведерко!

— Да ведь не полезет ведерко в щелку...

— Дома-то, поди, ребятишки остались. Ребят-то сколько осиротили...

На минуту мне показалось, что идет не тридцать девятый, а просто девятый год нашего века. Но современность вдруг остро напомнила о себе голосом молодой женщины, торопливо просовывавшей в вагонную щель пучек зеленого лука.

— Витамины нате! Витамины ешьте! Важнее всего!

Всё это длилось несколько минут. Каким-то чудом конвоиры, занятые заготовкой воды, не заметили ничего. Поезд тронулся. Староста вагона Фиса и специально избранная комиссия, в составе Павы Самойловой и Зои Мазининой, начали пересчитывать перышки зеленого лука, чтобы разделить его со всей справедливостью.

Но даже раздел лука не мог погасить вспыхнувшего возбуждения. Водяной бунт назревал. Первой подняла голос Тамара Варашвили.

— Товарищи! Я хочу сказать несколько слов, — негромко, но с ораторской интонацией сказала она, встав в центре вагона. — Мы должны требовать нормального снабжения водой. Мы изнемогаем. У каждой за спиной два, а то три гда тюрьмы. И какой тюрьмы! Мы все больны цингой, пеллагрой, элементарной дистрофией. Кто дал этим людям право истязать нас еще и жаждой?

— Правильно, Тамара! — поддержала спокойная Хава Малляр, впервые за всё время этапа повышая голос.

— Не говорите от имени всех, — раздалось с верхних нар.

— Я, конечно, не имею в виду тех, кто готов не только всему подчиниться, но и всё оправдать, — продолжала Тамара.

— Да еще и подвести под всё это теоретический базис! — Хава встала рядом с Тамарой, подчеркивая свою поддержку.

— Потом объясните наконец, в чем дело. Куда девалась вода? Разве наш путь пролегает через пустыню Сахару? Почему они не могут набирать воду на станциях три раза в день?

— Что же вы предлагаете? Голодовку? — это из угла, где сидят эсерки.

— Прекратите антисоветскую агитацию! Не мерьте всех на свой аршин! — это Лена Кручинина.

— Я и адресую свои слова не всем, а только тем товарищам, которые не потеряли человеческого достоинства и уважения к самим себе.

— Правильно, правильно, Тамара! — это уже многие, очень многие.

К двери пробилась, стучая барабанами, Таня Станковская.

— Давайте требовать! — резко заявляет она и, не дожидаясь одобрения своих действий, начинает колотить сухими синими кулаками в вагонную дверь.

Поезд уже снова замедлил ход, приближаясь к очередному полустанку.

— Воды-ы-ы!

И уже кто-то:

— Негодяи! Мучители! Не имеете права! Нет на вас, что ли, советской власти?

И чей-то отчаянный вопль:

— Вагон разнесем! Стреляйте, всё равно один конец! Воды-ы-ы!

Топот ног по платформе. Рывок! Дверь настежь! Пять конвояров во главе с Соловьевым-разбойником.

— Молчать! — кричит он, и его глаза наливаются кровью. — Рехнулись, что ли? Бунтовать? А ну говори, кто застрельщик?

И так как на вопрос, конечно, никто не отвечает, он хватает оказавшуюся ближе всех к дверям Таню Станковскую и совсем незаметную, молчаливую Валю Стрельцову. Он приказывает отвести их в карцер как зачинщиков бунта. Тогда вперед выходит Тамара.

— Мы требуем воды, — спокойно говорит она. — Все требуем. А те, кого вы взяли, ни в чем не виноваты. К тому же Станковская очень больна, она не перенесет карцера.

Хава говорит еще спокойнее и еще тише Тамары.

— Мы не верим, что в советской стране могут истязать людей жаждой. Мы считаем это произволом конвоя и требуем нормального снабжения водой.

— Я вам покажу требовать! — задыхаясь не только от злости, но и от удивления, гремит Соловей-разбойник. В нем сейчас ничего общего с тем Соловьем, который почти по-человечески воспринимал пушкинский текст.

— Мищенко! На карцерное их всех! А приедем — покажу им, где раки зимуют! Небо с овчинку покажется! — Он делает неопределенное движение в сторону Тамары и Хавы, но после минутного колебания отворачивается от их спокойных взглядов, делая вид, что действительно считает зачинщиками водяного бунта еле стоящую на ногах Таню и безликую молчальницу Валю Стрельцову.

Конвоиры уходят, уводя двух заложниц. Но вагон не усмирен. Вслед конвою несутся удары десятков кулаков по стенкам вагона, по дверям. Летит всё тот же разъяренный вой:

— Воды-ы-ы!

\*

Теперь уже никто не поднимается с нар. Щель в дверях закрыта. Болт закручен наглухо. Хлебные пайки сокращены почти вдвое. Баланды не приносят. Карцерное положение.

Но это всё почти никого не расстраивает. Вернее, почти никто не замечает этих ухищрений Соловья-разбойника. Не до того. У всех одна мысль — Таня не выйдет живой из карцера.

У Тамары опустились плечи. Она почти перестала откидывать назад голову. Три дня подряд она заявляет раздающему хлеб конвоиру Мищенко, что произошла ошибка: не Станковская, а именно она, Тамара Варазашвили, первая предложила требовать нормального снабжения водой.

— Второй же была я, а не Стрельцова. Могут подтвердить очевидцы, — тихим голосом добавляет Хава Маляр, и ее лицо оперной Аиды бледнеет.

Но Мищенко пуще всего не любит, когда эти шибко грамотные бабенки начинают балакать на своем птичьем, ученом языке.

— Ничего не бачил! Ничего не чул! — бурчит он флегматично. — Староста, рахуй, давай пайки!

Но Фиса Коркодинова — недаром ее еще в Нижнетагильском горкоме комсомола считали отличным массовиком — чувствует: разве так надо с Мищенко разговаривать?

— Гражданин начальник, — она вытягивается в струнку, — разрешите обратиться...

Мищенко польщен до невозможности. Гм... уважительная девка, ничего не скажешь...

— Ну, давай, — приосанивается он, — тильки покороче...

— Разрешите, гражданин начальник, мне как старосте узнатъ, на сколько суток Станковская посажена? Мне для учета... Когда срок ей?

— Ну, ежели для учета, могу сказать. На пять... Пислязавтра туточки будэ...

Но их привели к концу этого же дня. Соловей-разбойник сообразил, что проволочка с оформлением акта о смерти будет немалая.

Так уж лучше довезти до транзитки, а там пусть разбираются сами.

Валя Стрельцова, вечная молчальница, и тут остается верна себе, лезет молча на вторые нары, к своему месту. Даже не спросила, где ее кружка. Даже не поблагодарила Надю Королеву за то, что Надя ее кружку сберегла целехонькой. Хранила, чтобы не разлили.

(Только восемь лет спустя, когда Валя Стрельцова смертельно заболеет, простудившись на таежном сенокосе, где до самого колымского ноября спят в самодельных шалашах, — все узнают о причине великого упорного молчания, ее отъединенности от людей. За день до смерти Валя расскажет своей соседке, религиознице Наташе Арсеньевой, что во время следствия она, Валя, поставила свою подпись под десятками смертных протоколов. Была Валя на воле техническим помощником первого секретаря одного из обкомов партии. Вот и заставили ее подписать и на секретаря, и на все бюро, и на многих из областного актива. Наташа Арсеньева, адвентистка седьмого дня, будет искренне убеждена, что после смерти Вали надо рассказать об этом всем в лагере. Чтобы знали люди, что новопреставленная раба Божия Валентина страдала, покаялась и перед смертью у Бога и людей прощения просила. Тогда, мол, легче ее душе будет).

... — Таня, Танюша, прошу тебя, ляг на нижние нары, — умоляет Павочка Самойлова. — Ну мне ведь совсем не трудно наверх залезть. Я молодая, здоровая, а ты... Куда ты в таком состоянии полезешь?

— Не надо, — хрипит Таня, — мне только ноги вытянуть бы. В карцере всё время с согнутыми коленями... Там даже моим мослам поместиться негде. Достижение современной техники карцер этот.

С Тани стаскивают бахилы. Ей жертвуют несколько капель

воды на край ярославского полотенца, чтобы обтерла лицо после карцерной грязи. Доктор Муська считает ей пульс.

— Почему у тебя такие руки холодные? — испуганно спрашиваю я, забравшись в гости к Тане на верхотуру. — Такая жа-рища, духотища, а они у тебя ледяные? Неужели додумались какой-нибудь искусственный холод в карцере делать?

— Нет. Там еще душнее здешнего. Совсем без воздуха. Сами не знаю, что с руками.

Таня смотрит на свои руки, похожие на скрюченные лапы старого ободранного петуха, лежащего на прилавке мясной.

(Только через несколько лет, работая медсестрой в лагерных больничных бараках, я пойму, что эти ледяные руки — верный признак близкого конца для всех «доходяг», гибнущих от дистрофии. Я так привыкну к этому, что, ощущив под своей рукой холод очередной петушиной лапы, уже с вечера буду заготовлять бланк «акт о смерти», чтобы передать его потом в УРЧ для архива).

— Да ты не бойся, Женька, не умру я в этапе. Мне до транзитки обязательно надо добраться. Поняла? И хотя мне другой раз — уж скажу тебе как другу — здорово умереть хочется, но я не даю себе волюшки в этом деле. Вот после транзитки видно будет...

— Муж?

— Нет. Не из тех я дурочек, что мечтают на транзитке расстрелянного мужа встретить. Нет. Но действительно мне нужна встреча с мужской зоной. Иван Лукич, понимаешь... Наш, донбассовский. В тридцать пятом секретарем райкома стал, а до того — в шахтах. Знатный мастер.

— Любовь?

— Да ну тебя! Ему шестьдесят два.

Таня долго кашляет и хрюпит прежде чем начать рассказ. Доктор Муська уже несколько раз говорила, что у Тани начались застойные явления в легких, при этом так озабоченно качала головой, что черные косички, завязанные тряпochками, задевали седок.

Оказывается, когда Таня была арестована, — а была она до ареста инструктором кульпрота обкома, — рабочие той самой шахты, где и отец Тани работал, и два брата, написали коллективное заявление. Дескать, знаем всю семью как облупленную. Станковские — рабочая династия, потомственные шахтеры. Татьяна всё

от советской власти получила: образование, работу, квартиру — всё! Ей, мол, никакого резона с контриками якшаться быть не может. Всё равно что против себя самой идти. А работала она отлично. Ни дня, ни ночи не было для нее, если по рабочему делу. Свыше пятидесяти подписей собрали. Ну, и к Ивану Лукичу пошли. А он в это время уже секретарем райкома был.

— Да. Подписал. Ни на что не посмотрел. Он ведь мой крестный, в партию меня рекомендовал в двадцать втором. Взял он это заявление, подписал, да еще добавил сбоку: «Как в двадцать втором ручался, так и теперь ручаюсь».

— Какие люди! А потом?

— Потом посадили их всех до одного, кто подписывал. Ну и Ивана Лукича тоже. Это я уже потом на пересылке узнала от новеньких. Вот и нельзя мне, понимаешь, до транзитки умирать. Эсерки говорят, что там обязательно с мужчинами встретимся. Они знают. Не впервые.

— Поблагодарить его хочешь?

— Что благодарить? Сам знает, что я души за него не пожалела бы. Тут другое. Хочу сказать ему, что напрасно он это сделал. Неrationально. Ты послушай, какая у меня мысль. Понимаешь, верю я, что таких Иванов Лукичей много в нашей партии есть, из тех, кто остался на воле. Но сделать они пока ничего не могут.

— Почему же?

— Не знаю. История скажет. Но только если они сейчас выступят против Сталина, то от этого, кроме еще нескольких тысяч покойников, ничего не будет, а вред большой. Ведь настанет время, когда они смогут поднять свой голос. И надо, чтобы они сохранились до тех времен. И так уже нас слоями снимают. Чего же еще самим в петлю лезть? Да главное — без пользы для дела...

Ночная беседа прерывается неожиданным появлением на верхотуре Хавы Маляр. Волосы у нее распущены, и Таня, увидев ее, протягивает свою петушью лапу и поет (да, поет!) шутливым шепотком: «Как смеешь ты, Аида, соперничать со мною?»

— Тише, Таня... Я принесла вам...

Хава всех зовет на «вы», но оно звучит у нее очень доверительно. Я протираю глаза. Не мираж ли? На раскрытой ладони Хавы — пять кусочков плененного сахара. Это еще ярославский. Там выдавали по два кусочка в день. В этапе сахар не положен. Как догадалась скопить? А после того как вызывали на медицинскую комиссию, по кусочку в день откладывала, потому что, когда с сердцем станет плохо, надо пососать сахарку. Сразу пульс вы-

равнивается. И Таня должна съесть два куска сейчас, сразу, а остальные в ближайшие дни. Сразу пойдет на поправку.

(Хава Маляр, несмотря на больное сердце, доживет до счастливых времен. Она еще успеет прочесть материалы ХХ и ХХII съездов. Она медленным шагом, оглядываясь неверящими, эфипискими глазами по сторонам, поднимется по лестнице большого дома на Старой площади. Она успеет насладиться горячей водой в одной из квартир Юго-Запада. И только весной шестьдесят второго кучка уцелевших этапниц седьмого вагона побредет следом за мертвой Хавой в крематорий).

\*

Иногда эшелон останавливался на целые сутки по каким-то высшим соображениям. Это были самые мучительные дни. Неподвижный, раскаленный, вонючий воздух. Закрытая наглухо дверная щель. Приказ: молчать всем, хоть и стоим в чистом поле.

Но вот дожили, дожили наконец! Свердловск. Будет баня. Меньшевичка Люся Оганджанян уже бывала здесь. И она снова и снова, как Шехерезада, повторяет волшебную сказку о свердловском сандропускнике. Какой он чистый, большой, просторный. Ничем не хуже Сандуновских бань. В раздевалке — огромное зеркало. Мочалки всем выдают. Можно помыться в свое удовольствие. А уж напиться...

Только бы торопить очень не стали. Злится, наверное, на нас Соловей-разбойник за водяной бунт.

Но Соловей-разбойник вспыльчив, да отходчив, даже улыбается снова.

— Староста седьмого вагона! — громогласно возглашает он.  
— Приготовиться к бане. Вот вам и вода будет. А вы орали... Сколько хошь ее тут. Хошь пей, хошь лей, хошь мойся-полоскайся!

— Шоб не журылься! — добавляет из-за спины Соловья толстоносый Мищенко.

Староста Фиса Коркодинова сразу встрепенулась и оживилась в предвидении такого большого массового мероприятия.

— А как же с бельем, гражданин начальник? Нам ведь в Ярославке только один бущлат дали, да по полотенцу. Белье и платье то, что на нас. Всё очень грязное, гражданин начальник.

— Белье будет меняться только сильно менструальное, — торжественным полным голосом объявляет начальник конвоя, —

остальное — только на выжарку. Выжарют, стало быть, в дезокамере, покуда моетесь, и надевайте обратно. Хоть не шибко красиво, зато уже заразы никакой не будет. Прожарится всё как есть.

— Провел санпросветработу наш Соловей, — вздыхает вслед начальнику Нина Гвиниашвили.

— Девочки! Идея! — Таня Крупеник конспиративно понижает голос, — ничего, кроме бушлатов, в дезинфекцию не сдавайте. А белье давайте выстираем под душем сами и прямо мокрое на себя наденем. В такую жару в два счета высохнет на нас. Зато чистые будем.

— Да ведь дознается змей полосатый! — тоскует Поля Швыркова.

Но пока никто не хочет растревлять себе сердце из-за белья. Слишком уж велика радость — впереди встреча наших шершавых, потных, костлявых, расчесанных, умученных тел с водой, с горячей водой, струящейся из многочисленных кранов волшебного свердловского санпропускника.

— Выходь! Стройся по пяти!

На запасном пути, где остановился вагон, нет перрона. Мина Мальская, Софья Андреевна Лотте, да и некоторые другие, никак не могут спрыгнуть. Высоко. Павочка Самойлова и Зоя Мазнина подставляют им скрещенные руки, кое-как стаскивают. Но писательница Зинаида Тулуб боится прыгать и так. Она стоит на краю вагона и подробно рассказывает нетерпеливым конвоирам с собаками, как осложнился в Ярославле ее давнишний радикулит, и как она в молодости была отменной спортсменкой. Тогда такой прыжок, конечно, не составил бы для нее трудности, но теперь...

— Давай прыгай, говорят тебе! Весь строй задерживаешь! — рявкает Соловей. — Мищенко, давай саживай ее как знаешь!

Мищенко покорно подставляет свою бычью шею, и на ней повисает бывшая прелестная, правда, немного старомодная женщина, автор талантливых исторических романов.

— Я вам, право, очень обязана, — говорит она, поправляя ежовскую формочку, когда пыхтящий Мищенко ставит ее на твердую почву.

Толпа серо-коричневых теней — у каждого вагона.

— Разберись по пяти! Приставить ногу!

Соловей-разбойник перебегает от вагона к вагону, на ходу делясь с дежурными образчиками фольклора. Немецкие овчарки рвутся из своих ошейников и громко лают. Они тоже застоялись во время пути и выглядят облезлыми, похудевшими.

— Интересно, какая на них положена норма снабжения во-

дой на этапе? — кротким голосом просто в воздух бросает Нина Гвиниашвили. И стоящий неподалеку Мищенко, не искушенный в оттенках сарказма, отвечает почти добродушно:

— От пуга пьют. Скильки влизе...

Население всех вагонов выстроено по пяти. Получается длинная, метров на семьдесят, серо-коричневая шевелящаяся лента. Кто-то от свежего воздуха затуманился, осел на землю.

— Держись, держись! Одна одну поддерживайте. Падать никому не давать...

Конвоиры бегут вместе с собаками, раздраженные тем, что, несмотря на категорический запрет, некоторые все же теряют сознание.

— По пяти, по пяти! Ряды не путать!

— Хвост, хвост загибай! Передние, приставить ногу! Задние, подтянитесь! Левее, левее!

Таня Станковская острит хриплым, срывающимся голосом:

— А если левее, то не прибавят за левый уклон по десяточке?

— Остроумная была покойница, — шепчет мне на ухо Нина Гвиниашвили.

В сиянии раннего летнего утра Таня действительно выглядит настоящим трупом. Голова ее бессильно качается на вытянувшемся шее, как увядший плод на стебле.

— Шаг влево, шаг вправо — будет применяться оружие, — предупреждают конвоиры.

Раздевалка санпропускника превосходит самые смелые надежды. Простор. Чистота. А зеркало! Полстены! Но все равно оно не вмещает несколько сот голых женщин с тазами в руках, толкующихся перед ним. Плынут, плывут в синеватом стекле сотни тревожных горьких глаз, ищащих свое отражение.

Я узнаю себя только по сходству с мамой.

— Павочка, — окликаю я Паву Самойлову, — подумай только: я по маме себя узнала. Больше на нее похожа сейчас, чем на себя. А ты?

— А я, стрижена, еще больше на Ваню стала похожа.

Даже здесь, в волнующий момент встречи с зеркалом, после трехлетней разлуки, Пава ни на минуту не забывает о своем брате. Между ними — большая любовь и дружба.

(Во Владивостоке Паву будет ждать радостная удача: ей, единственной из всего этапа, доведется встретить на транзитке того, о ком мечталось. Ее брат Ваня окажется в соседней мужской зоне, отгороженной легким заборчиком. И они встретятся у этого

забора. И Ваня передаст на память сестричке случайно сохранившуюся у него маленькую подушечку. И будет повторять: «Прости, прости меня, Павочка, я тебя погубил...» — «Да чем же ты виноват, Ванюша?» — спросит Пава. — «Да только тем, что я твой брат». А перед посадкой на пароход «Джурма», который повезет женский этап на Колыму, Пава снова перебросит брату ту же подушечку, потому что больше ей дать ему нечего. И этим кончается для них всё, потому что в сорок четвертом по доносу секската о «разговорчиках» Ваню расстреляют, и сестра узнает об этом только в пятидесятых годах, после своей и Ваниной (посмертной) реабилитации.

...Соловей! С ума он сошел, что ли?

Да, начальник конвоя с завидной непринужденностью разговаривал среди сотен обнаженных женщин. Не успели и ахнуть по этому поводу, как заметили, что у всех дверей, ведущих из раздевалки в душевые, стоят по два солдата в полном обмундировании и с винтовкой в руках.

— Что уж это, батюшки! — запричитала совсем по-деревенски Поля Швыркова. — Разве уж мы вовсе не люди, что нас нагнали прямо мимо мужиков гонят. Рéхнулись они, видно...

— В отношении шпионов, диверсантов, террористов, изменников родины вопросы пола никакой роли не играют. Ты разве не усвоила этого еще в тридцать седьмом от следователя?.. Ну что ж, если так, то и они для нас не мужчины. — И Нина Гвиниашвили храбро шагнула через порог между двумя солдатами.

— Нет, нет, девочки, — страстно зашептала Таня Крупеник.

— Нет, видят они в нас женщин и людей, эти солдаты. Присмотритесь к лицам.

Таня говорила чистую правду. Глаза всех караульных, стоявших у дверей, были устремлены в одну точку, вниз, под ноги. Казалось, они пересчитывают только мелькающие мимо них пятки. Все до одного. Ни один не поднял любопытствующего взгляда.

Другое дело Соловей-разбойник. Тот даже не отказал себе в удовольствии вызвать пред свои светлые очи старосту седьмого вагона.

— Староста седьмого вагона! Встань передо мной, как лист перед травой! — рявкнул он, так и зыркая озорными, гуляющими зенками, так и предвкушая появление голой Фисы.

И она встала перед ним. Общий гул восторга прошел по толпе женщин. В вагоне никто не замечал, что представляют собой Фисины волосы. Гладко зачесанные за уши и туго закрученные

на затылке, они совсем не бросались в глаза. Сейчас расплетенные, выпущенные на волю, они рыжим потоком струились вдоль тела Фисы, прикрывая ее всю до колен. Она стояла с тазиком в руке и казалась одновременно и уральской Лорелей, и святой Барбарой, у которой чудом выросли длинные волосы, чтобы прикрыть ее наготу от мучителей-язычников.

— Староста седьмого вагона вас слуша-ат, гражданин начальник, — пробасила Фиса, придерживая волосы на груди, как держат наброшенную на плечи шаль.

Соловей, с плохо скрытой досадой, уточнил свои распоряжения, а этапницы седьмого вагона окружили свою деловитую, смыщенную старосту кольцом любви и дружбы.

Наслаждение длилось целый час. Конвой, занятый возней в дезокамере, не торопил. Все ожидали. Плеск воды перекликался со всплесками смеха. Таня Крупеник быстрыми, спорыми движениями простиригала рубашку, даже замурлыкала тихонько «Ой, Днipro, Днipro»...

Запас жизнелюбия и доброты был в Тане неисчерпаем. Ни минуты она не чувствовала себя отверженной из-за того, что она, единственная из всего вагона, имела срок не десять, а двадцать лет. Сама Таня говорила, что ей отвалили столько потому, что ее суд пришелся на пятое октября тридцать седьмого. Тут как раз вышел новый закон, установивший новый максимальный срок тюремного заключения — двадцать пять вместо десяти. Но многие в вагоне шептались: это потому, что Таня — в близком родстве с бывшим председателем Совнаркома Украины Любченко. А уж известно: чем ближе к знаменитым коммунистам, тем больше срок...

— Что десять, что двадцать — одно и то же, — отмахивалась Таня в ответ на расспросы. — Никто столько сидеть не будет. Разберется партия. Не может этого быть. Ведь вот слетел же Ежов! И на других вредителей придет срок. Ведь это ясно, что вредители проникли в НКВД. Разоблачат их... А мы выйдем. Уже сейчас к нам относятся лучше, чем при Ежове. Он нас два года в одиночках держал, в крепости. А теперь мы на работу едем. Крайний Север осваивать... Значит, верят, что будем работать по совести...

(Чем отличается десятилетний срок от двадцатилетнего — это Таня почувствует в сорок седьмом, когда ее товарищи — из тех, кто выжил — один за другим будут уходить из лагеря на поселение. В лагере появятся новые люди — зека военного периода.

Среди них Таня, с ее неистребимыми, не убитыми ни тюрьмой, ни лагерем партийными повадками двадцатых-тридцатых годов, почувствует себя одинокой. А в сорок восьмом случится пожар на агробазе колымского совхоза Эльген. И Тане, работающей там заключенным агрономом, будет угрожать новый срок, новый суд, с обвинением в диверсии и поджоге. И в одну белесую ночь короткого колымского лета Таню Крупеник — карие очи, черные брови — найдут болтающейся в петле в одной из теплиц, где выращивают огурцы и помидоры для лагерного и совхозного начальства. Над головой мертвой Тани будет кружиться и жужжать туча колымских комаров, жирных, омерзительных, похожих на маленьких летучих мышей).

...Первые дни после Свердловска — прилив бодрости. Возобновляется чтение стихов, лекции по специальностям. Зинаида Тулуб читает наизусть по-французски Мопассана. Все восхищаются ее чтением, и даже Лена Кручинина не вспоминает больше о Зинаидином коте Лирике.

Мина Мальская меньше хватается за сердце и согласилась прочесть (нет, не лекцию! зачем в таком состоянии долго затруднять внимание товарищей!) маленькую заметку о природе Крайнего Севера.

На третий день все замечают, что после великолепного свердловского санпропускника еще более мизерным кажется водяной паек. Снова начинаются ссоры, ленивая переброска репликами.

— Ох-ох, — вздыхает Поля Швыркова, — брюхо старого добра не помнит! С полведра, поди, выпила в Свердловске, а сейчас опять... Такая ситуация...

— Хватит ныть, не шумите! — обрывает кто-то из умеющих спать круглые сутки.

— Не злитесь, девочки! И откуда только это зло в людях берется! — тяжело вздыхает Надя Королева.

— Как откуда? Невод широко был раскинут. Ну, и рыбка наловилась разная... — Это Таня Станковская хрипит сверху. Она теперь совсем не встает, а на мои вопросы о здоровье отвечает:

— До транзитки всё равно доеду!

\*

Однажды на рассвете, уже недалеко от Иркутска, все проснулись от сильного толчка.

— Крушение?

— Не плохо бы... Чтобы вдрывг наш седьмой. Тогда волей-неволей пришлось бы им нас в чистом поле подержать. Вот на-дышались бы!

— Не мечтайте. Ой, смотрите, кружки летят. Вот это действи-тельно стихийное бедствие. Не то что крушение поезда. Без круж-ки попробуй до Владивостока. Еще столько протащимся.

Эшелон остановился. За дверями — топот ног конвойных, пе-ребежки их от вагона к вагону, отрывистые крики, ругательства.

— Как вы думаете, что бы это могло случиться? — вежливо повторяет уже в который раз Зинаида Тулуб и просительно обво-дит вагон своими томными глазами, годящимися скорее для Анны Керн, чем для эталницы седьмого вагона.

Все молчат. Наконец раздается сверху голос Тани Станков-ской.

— Одно из двух: или внеочередное извержение Везувия, или получен ответ Сталина на стихи Оли Орловской.

У Нади Королевой от толчков вагона раскололась пополам кружка, и Надя рыдает над ней, как над умершей родной дочерью.

Вдруг резко стукнула оттолкнутая вправо дверь. Сразу по-чувствовалось: это не обычный приход конвоя. Все вскочили. Что еще? Вслед за Соловьевым-разбойником подталкиваемые сзади еще двумя конвоирами в седьмой вагон влезают одна за другой жен-щины. Они слабы. Они держатся за стенки, эти незнакомые жен-щины в тех же серых с коричневым ежовских формочках. Их много — человек пятнадцать.

— Староста седьмого вагона! Принимай пополнение! — ко-мандует Соловей. — Давайте сдвигайтесь маленько на нарах, дай-те новеньkim места, а то, вишь, развалились! Кумы королю...

— Куда же, гражданин начальник? И так уж по команде на другой бок ворочаемся, — заворчала на этот раз даже Фиса.

— А чего ворочаться? Знай лежи, полеживай! Спокой! — мрач-новато шутит Соловей.

— Давай, давай! Лягайте, да не вертухайтесь! — инструкти-рует Мищенко.

Надя Королева, рыдая, расталкивая всех, бросается к Соловьеву со своим горем. Она ведь не виновата, что крушение. А как же теперь без кружки?

— Другой не дадим. Как вы думаете? Я за них отчитываться должен, или как? Во Владивостоке — полная инвентаризация. — И поучительно добавляет:

— Беречь надо казенное добро.

Один за другим конвоиры и Соловей опрыгивают на песок.

Закладывается дверной болт. Новенькие стоят кучей в середине вагона, у самого парашного отверстия, прижимая к груди бушлаты. Несколько минут длится общее молчание. Среди взглядов, бросаемых нашими коренными обитателями седьмого вагона, есть и враждебные. Подумать только! И так чуть живы, пить нечего, дышать нечем, а тут еще... Куда их девать?

— Кто же это вас так обкорнад-то?

Поля Швыркова первая заметила, что в облике новеньких есть что-то отличное от своих, привычных. Что-то еще более нестерпимое и оскорбительное.

— Волосы!

— Да, нас остригли. Мы ведь не ярославки. Мы из Суздаля. Нас только в день этапа привезли в Ярославль. В двенадцатом вагоне ехали. А потом сломался он. Небольшое крушение. Вот нас и разбили на три группы и по другим вагонам рассовали. Но у вас, видать, и без нас не скучно?

Сузdalь. Вторая женская одиночная тюрьма всесоюзного значения. В Бутырках много о ней мечтали. Там бывший монастырь. А кельи уж обязательно посуже камер. И вот...

Да. В отличие от ярославских, сузdalьские узницы обриты наголо. Ярославки с ужасом смотрят на бритые головы своих незваных гостей. А те бросают полные зависти и восхищения взгляды на наши растрепанные, пыльные, посеревшие косы, локоны, челки.

— Эх, бабоньки... — на весь вагон вздыхает Поля Швыркова.

И это сигнал. Сигнал к тому, чтобы все увидели в новеньких не нахлебников, с которыми надо делить голодный паек воды и воздуха, а родных сестер, униженных и страдающих еще больше, чем мы сами. Волосы! Обрить волосы!

— Идите сюда, товарищ! Здесь можно подвинуться.

— Кладите свой бушлат на мой...

— Снимите бахилы и забирайтесь сюда с ногами. Потеснимся, теперь уже меньше осталось. По Сибири едем.

Одна из новеньких узнала меня. Пробирается, прокладывая дорогу свернутым бушлатом.

— Женя!

Но я не сразу узнаю хорошо знакомую по воле, по Москве, Лену Соловьеву. Трудно узнать кокетливую, вечно смеющуюся Лену в этой почти бесполой фигуре, как бы только что поднявшейся после тифозной горячки. Отрастающая белесая щетинка топорщится на несуразно длинном черепе. С острых плеч, как с гвоздикой, свисает ежовская формочка.

По тому, как долго я вглядываюсь в нее неузнающими глазами, по интонации, с которой я восклицаю наконец: — «Леночка!» — она, может быть, впервые за все время заключения догадывается, во что превратилась бойкая, способная аспиранточка.

Судорожными движениями она вытаскивает из кармана мяту грязную косынку и набрасывает ее на голову.

— А так? Так хоть немного похожа на себя? — спрашивает она, и ее узловатая, костлявая рука тянется к моим волосам. — Счастливая! У тебя локоны! Те же... Московские...

Меня охватывает пароксизм острой, непереносимой жалости.

(Ведь это еще только тридцать девятый год. И, несмотря на следствие, суд, Бутырки, Лефортово, Ярославку, мне известно еще далеко не все о том, что люди могут проделывать с другими людьми. Поэтому бритье голов сузdalских этапниц, а особенно моей старой знакомой Лены Соловьевой, я воспринимаю как предел надругательства над женским естеством. Через два-три года я просто не буду замечать, как выглядит чья-либо женская голова, прикрытая лагерной шапкой, напоминающей головные уборы печенегов-кочевников).

— ...Вырастут... Леночка, родная, вырастут! Ты снова будешь красивой. Не завидуй нам. Ведь мы такие же, как ты. И нас они могут так же... — Я дотрагиваюсь до своих волос. Нет, уж этого я, пожалуй, не пережила бы.

— Лена, где твой Иван? Где девочки?

В застывшем, как маска, лице Лены что-то вздрагивает.

— Девочки? Не знаю, ничего не знаю. Не разрешили переписку. А Иван — там же, где все порядочные люди.

Лена говорит почти безразличным голосом. Видно, она уже ничего не боится. Ей все равно, если кто-нибудь из вагонных ортодоксов-сталинцев «стукнет» конвою о таких ее речах.

Среди сузdalских есть все-таки одна с небритой головой.

— Не далась! — объясняет она громким голосом с очень четкой дикцией, по которой я безошибочно угадываю педагога.

Это — Лилия Итс, Елизавета Ивановна. Директор средней школы из Сталинграда. Высокая, привлекательная, с крупными кольцами русых волос, спускающихся на плечи. Когда-то девчонки обожали ее, но прозвали все же «Елизавета Грозная».

— Я бросилась прямо на ножницы. Била парикмахера, кусала ему руки, — все с теми же учительскими интонациями, точно объясняя урок, продолжает Лилия Итс. — Спасла волосы, но искалечила ногу. Пускай! Это меня меньше травмирует.

Правое колено Лили багрово-синего цвета. Нога, как лоснящееся полено.

— Швырнули в карцер со всего размаха о железную койку. Но острить всё же не успели. Тут как раз этап. Заторопились... Некогда уж им было со мной сражаться.

Тамара Варазашвили порывисто жмет руку Лиле.

— Уважаю ваше мужество, товарищ.

В углу, где расположились (и не думая уступать ни сантиметра из своего жизненного пространства) наши ортодоксы, возникает движение.

— А вам не приходило в голову, что стрижка могла быть вызвана чисто санитарными соображениями? Может быть, появилась вшивость? — спрашивает Лена Кручинина.

Все сузdalьцы наперебой отклоняют этот вариант. Он у них уже много раз обсуждался.

— Откуда вши в одиночках? Там голо и чисто. Камень, железо и один человек в ежовской форме. Два раза в месяц — одиночный душ. Никаких санитарных соображений. Просто издевательство.

— Ну, едва ли обычную стрижку можно считать издевательством. Вот когда на царской каторге брили полголовы...

Таня Станковская не может больше вытерпеть. Не поймешь, откуда у нее берутся силы, чтобы прокричать на весь вагон:

— Братцы! Давайте составим благодарность товарищу Сталину. Так, мол, и так... жить стало лучше, жить стало веселее. Бреют уже не полголовы, а всю подряд. Спасибо, дескать, отцу, вождю, творцу за счастливую жизнь.

— Станковская! Когда слушаешь вашу антисоветчину, просто не верится, что вы были членом горкома.

— А слушая вас, просто не верится, что вы у них не в штате, а просто как вспомогательный состав. Кстати, почему бы вам сейчас не вызвать конвой и не доложить об этой беседе. Может, вам за заслугу эту чистое белье выдали бы. А то от вас воняет что-то сверх нормы...

— Тиш-тиш... Девочки, да что же это? — умоляет наивный ортодокс Надя Королева. — Разве хорошо так оскорблять друг дружку? У меня вон горе-то какое — кружку разбило, и то на людей не бросаюсь. Что же поделаешь, терпеть надо. Тюрьма, так она и есть тюрьма. Не курорт... Как в песне-то поется: «Это, барин, дом казен-ин-ный...»

— А-лек-сан-дров-ский централ... — подхватывает кто-то нараспев.

Стучат и стучат колеса, теперь уже совсем не ритмично, еле-еле. Кажется, пешком скорее дошли бы до Владивостока.

Устал седьмой вагон. Истомили, перегрузили его. И всё же идет, пробирается, уходит всё глубже в сибирские дали. Заглушая стук колес, из вагона выбивается на воздух вековая каторжная песня, сибирская этапная:

... За какие преступ-ле-е-нья  
Суд на каторгу сослал?

\*

Среди сузальских есть популярные люди. Лина Холодова, пулеметчица Щорса. Слух о ней шел по всему этапу. Спорили: среди нас чапаевская Анка. Оказалось, — не Анка, а Лина, та, что у Щорса. Следователи говорили ей: «Мало тебе было мужиков в своем селе, так ты на фронт пошла, чтобы в свое удовольствие пораспутничать!»

Известная парашютистка Клава Шахт. Даже после двух лет Суздаля, в ежовской формочке, она сохранила изящество движений, манер. Только пальцы рук у нее деформированы. При последнем прыжке повисла на проводах.

Феля Ольшевская, член партии с семнадцатого, долгие годы работала в польском революционном подполье. Ее сестра — жена Берута.

Знаменитая председательница колхоза из Узбекистана Таджихон Шадиева. Многим ее лицо кажется знакомым, потому что в тридцатых годах лицо Таджихон то и дело мелькало в кадрах кинохроники и на обложках «Огонька» и «Прожектора».

За три года тюрьмы Таджихон всё еще не привыкла к тому, что забота о народном хозяйстве страны теперь не ее дело. С азартом и грубыми ошибками в русском языке она всё рассказывает о каких-то давнишних пленумах, на которых ей удалось посрамить некоего Биктагирова по вопросу о сроках уборки хлопка. Таня Крупеник и Аня Шилова делятся с ней своими замыслами и агрономическими планами насчет освоения Колымы.

Я не могу наглядеться на Лену Соловьеву. Знакомая по воле. Это — великая радость. Она знала моего старшего сыночка. Я знала ее девочек. Я сидела с ней рядом в тридцать шестом на

Тверском бульваре во время совещания переводчиков. С ней можно вспомнить, как интересно выступал тогда Пастернак, Бабель, Анна Радлова. Я глажу белесую щетинку, покрывающую удлиненный череп Лены, и с трудом отрываюсь от разговора, чтобы слазить на верхотуру, посмотреть, как там Таня Станковская.

— Жива, жива еще, не бойся, — каждый раз говорит Таня.

(Да, она действительно умрет только на транзитке. Но поискать среди заключенных мужчин своего партийного крестного Ивана Лукича ей не придется, потому что в ворота транзитного лагеря Таню уже не введут, а внесут. Ее положат на нары, с которых она уже не встанет. Она будет лежать, почти бесплотная, не человек, а силуэт человека. Ее не будут трогать даже клопы, которые живут на владивостокской транзитке организованно, почти как разумные существа, передвигаясь вполне целеустремленно большими толпами по направлению к новым этапам. Таня заболеет вдобавок ко всему куриной слепотой и не увидит меня, только за руку будет держать.

— В день Таниной смерти по транзитке распространится слух, что где-то здесь умер Бруно Ясенский от алиментарной дистрофии. Я расскажу об этом Тане, и та, оскалив страшные, расплюзующиеся во все стороны цинготные зубы, засмеется и скажет очень четко своим обычным хриплым голосом: — «Мне везет. Когда будешь меня вспоминать, будешь говорить: она умерла в один день с Бруно Ясенским и от той же болезни».

И это будут последние слова девушки из потомственной шахтерской семьи, партийной крестницы Ивана Лукича, самой мужественной пассажирки седьмого вагона — Тани Станковской.)

...По мере приближения к Владивостоку всё больше говорили насчет обуви. Уверяли, что этап высадят не в самом городе, а на какой-то Черной речке. Придется шагать пешком несколько километров до транзитки.

— Как же пойдем в бахилах? Кровавые мозоли натрем...

— Давайте у Соловья портняки требовать... Чтобы хоть плотно они на ногах сидели, эти трижды проклятые бахилы.

— Где он вам возьмет их?

— Чтобы этому Коршунидзе ярославскому так до конца жизни топать!

— Он сам, что ли, их выдумал? Деталь туалета, созданного гениальной фантазией товарища Ежова, сталинского наркома, любимца народа...

Бахил в одиночных камерах иногда не хватало. Поэтому на некоторых этапницах была еще собственная обувь, та самая, в которой арестовали, с отваливающимися, перевязанными веревочками подметками, с отломанными каблуками.

...В поведении конвоя тоже ощущалось близкое завершение путешествия. Ежедневно по многу раз считали и пересчитывали, писали и переписывали. Особенно переутомлялся Мищенко. Ему выпала непосильная задача переписать сузdalских, помещенных в седьмой вагон, отдельным списком. К этому делу он приступал уже трижды, каждый раз откладывая его окончание на завтра.

— Як ваше призвище? — спрашивает он Таджихон Шадиеву.

— Что я, уголовная, что ли, чтобы еще прозвища иметь, — обижается бывшая председательница узбекского колхоза. — С меня и фамилии достаточно.

— Ну хвамилия?

— Шадиева.

— А националы?

— Узбечка.

— Та ни... Ни нация, а националы...

— Инициалами твоими интересуется, — подсказывает догадливая доктор Муська.

— Ах, инициалы? Т. А.

— Полнотью, полностью ныциал, — требует обескураженный Мищенко.

Не меньше хлопот ему было и с немками.

— Гат-цен-бюл-лер...

— Тау-бен-бер-гер...

Мищенко отирает со лба холодный пот.

— Ныциалы ваши?

— Шарлотта Фердинандовна...

Час от часу не легче... Эх, не такой бы харч за такую работенку!..

\*

Во Владивосток прибыли ровно через месяц со дня выезда из Ярославля. Собственно, еще не во Владивосток, а где-то поблизости от него. Может быть, на Черную речку или как там еще называлась эта пустынная местность. Был поздний вечер, когда эшелон остановился. У вагонов уже ждал усиленный конвой, которому с рук на руки должен был сдать этап Соловей-разбойник. Оглушительно лаяли немецкие овчарки, прыгая на своих поводках.

— Выходь по пяти! Стройся давай!

Пахнуло близостью моря. Я почувствовала почти непреодолимое желание лечь ничком на землю, раскинуть руки и исчезнуть, раствориться в густосинем, пахнущем йодом пространстве.

Вдруг стали раздаваться отчаянные голоса:

— Не вижу! Не вижу ничего! Что с глазами?

— Девочки! Руку дайте! Ничего не вижу... Что это?

— Ой, спасите! Ослепла, ослепла я!

Это была куриная слепота. Она поразила примерно треть пассажирок седьмого вагона сразу же при вступлении на дальневосточную землю. С сумерек до рассвета они становились слепыми, блуждали, протянув руки и призывая товарищей на помощь.

Испуг заболевших, их отчаяние передавалось всем. Конвой неистовствовал, устанавливая тишину, необходимую для сдачи-приемки этапа при пересчете поголовья:

Ох, как тут пригодилось то, что всего только три года тому назад выучила в медицинском институте доктор Муська.

— Девочки, не бойтесь! — кричала доктор Муська, тряся косичками и размазывая рукавом льющиеся ручьем слезы. — Слушайте меня, девочки, вы не ослепли, это только куриная слепота, авитаминоз «А». Это от Ярославля, от седьмого вагона, климат приморский спровоцировал. Резкий переход. Перемена среды. Низкая сопротивляемость организма. Это излечимо. Это пройдет. Слышиште! Это только от сумерек до рассвета. Надо рыбий жир. Трех ложек достаточно. Не бойтесь, мои дорогие!

...До самого рассвета длится процедура сдачи-приемки. Рассвет. Невиданные оттенки лилового и сиреневого по краю неба. Ярко-желтое, точно нарисованное солнце.

— Теперь я буду по-настоящему понимать японскую живопись, — говорит Нина Гвиниашвили, глядя на небо и одновременно наворачивая на ноги порванное надвое ярославское полотенце, чтобы дошагать в бахилах до транзитки.

...Опять длинная шевелящаяся серо-коричневая лента.

— Трогай давай! Направляющий, короче шаг! Предупреждаю: шаг вправо, шаг влево — будет применяться оружие...

Бахилы задвигались, увязая в песке. Я оглянулась назад. Там, под лучами декоративного, великолепного солнца стоял, покривившись, старый грязно-багровый товарный вагон. На нем наискось, от верхнего правого до левого угла, было размашисто написано мелом: «Спецоборудование».

### 3. ТРАНЗИТКА

Итак, настало утро. Утро 7-го июля 1939 года. Мы всё шли и шли. Предчувствие знойного дня уже настигало нас. Но пока что нам в лицо бил какой-то удивительный воздух, пахнувший свежевыстиранным бельем. Мы жадно глотали его. Он точно смывал с нас грязь седьмого вагона. Дорога то поднималась, то опускалась, и на всем ее протяжении нам не встретился никто: ни человек, ни машина, ни лошадь. Точно вымер весь мир. И только нас, последних, домучивает иссякающая жизнь.

Мне казалось, что я сплю на ходу. Сплю и вижу во сне запах моря и пустынную дорогу. Только стоны и крики возвращали меня к реальности. Крики, как ни странно, были радостные. Это вчерашние слепцы радостно вопили: «Вижу!». Еще не все усвоили, что с наступлением вечера им предстоит ослепнуть вновь.

Сузdalьские куда слабее нас, ярославок. Со своими бритыми головами они казались все одинаковыми, точно сошедшими с какого-то конвейера, фабрикующего ужасы.

Путь нескончаем. До сих пор не знаю, сколько там было километров. Конвоиры совсем осипли от криков, овчарки тяжко лениво, как безобидные дворняги. Становится всё жарче. Только бы не упасть... Ведь впереди — транзитка, вожделенная транзитка, где мужскую зону от женской отделяет только колючая проволока, где мы должны встретиться с мужчинами, с нашими мужчинами. Впереди, значит, шанс на встречу с мужем... Мы с готовностью верим этой легенде, рожденной безнадежно устаревшим тюремно-лагерным опытом наших эсерок и меньшевичек.

Эта безумная надежда и ведет сейчас полуживые тени через непонятные спуски и подъемы нашего пути под всё более яростным дальневосточным солнцем.

Вот и ворота транзитного лагеря. Они густо оцеплены колючей проволокой.

— Гав-гав-гав, — оживились конвоирующие нас немецкие овчарки, чуя близкое завершение своей ответственной миссии.

— По пяти, по пяти проходь в ворота! — неистовствуют конвоиры, подталкивая вперед падающих.

В зоне, вдоль проволочного заграждения, стоят женщины, масса женщин. На них вылинявшие, заплатанные, рваные платья и кофточки. Женщины худы, измождены, лица их покрыты грубым пятнистым загаром. Это тоже заключенные, но они — лагер-

ницы. Их не коснулось мертвяще дыхание ярославских и суздальских одиночек. Женщины эти напоминают толпу нищих, беженцев, погорельцев. Всего только. А мы... Мы пришли из страшных снов.

И эта мысль отчетливо прочитывается на лицах встречающих нас лагерниц. Ужас. Пронзительная жалость. Братская готовность поделиться последней тряпкой. Многие из них плачут открыто, глядя на нас, наблюдая, как мы серой нескончаемой лентой вползаем в ворота. Доносятся приглушенные реплики.

— Ежовская форма... Бубновый туз...

— По два года и больше в одиночках...

— Тюрзак...

Тюрзак... Страшный зверь по имени тюрзак... Этому зловещему слову суждено почти десять лет висеть на наших шеях, подобно тяжелой гире. Тюремное заключение...

Мы были худшими среди плохих. Преступнейшими среди преступных. Несчастнейшими среди несчастных. Одним словом, мы были самые-рассамые...

Не сразу мы осознали тяжесть своего положения. Только позднее нам стало ясно, что в отличие от Ярославля, где мы были относительно равны, в этом новом круге Дантова ада не было равенства. Оказывается, население лагерей делилось на многочисленные, созданные дьявольской фантазией мучителей, «классы».

Впервые услышали мы здесь слово «бытовики». Это — лагерная аристократия, лица, совершившие не политические, а служебные преступления. Не враги народа. Просто благородные казнокрады, взяточники, растратчики. (С уголовниками, скрывающимися под тем же деликатным названием, мы встретимся немного позже. На транзитке их еще нет).

Бытовики очень горды тем, что они — не враги народа. Они — люди, искупающие свою ошибку преданным трудом. В их руках — все командные должности, на которые допущены заключенные. Нарядчики, старосты, бригадиры, десятники, дневальные — всё это в подавляющем большинстве «бытовики».

Затем начиналась сложная иерархия «пятьдесят восьмой» — политических. Самой легкой статьей была пятьдесят восемь — десять: «анекдотисты», «болтуны», они же, по официальной терминологии, «антисоветские агитаторы». К ним примыкали и обладатели буквенной статьи — КРД (контрреволюционная деятельность).

В большинстве случаев это были беспартийные люди. По лагерным законам этой категории можно было рассчитывать на более легкий труд и даже иногда на участие в администрации из заключенных. Реже проникали туда заключенные со статьей ПеШа (подозрение в шпионаже). Самыми «страшными» до нашего прибытия были так называемые КаэРТеде (контрреволюционная троцкистская деятельность). Это были лагерные парии. Их держали на самых трудных наружных работах, не допускали на «должности», иногда в праздники их изолировали в карцерах.

Наше прибытие влило бодрость в каэртедешников. В сравнении с «тюрзаком», прибывшим из политизоляторов, осужденным Военной коллегией по террористическим статьям, меркли «преступления КРТД». Прибыла мощная смена для работы на лесоповале, мелиорации, на кольмском сенокосе.

По существу различие между нами и КРТД состояло в сроках ареста. Они — так же, как и мы, в основном коммунисты — были арестованы раньше нас, когда давали еще чаще всего КРТД 5 лет. Мы же, взятые в разгар ежовщины и бериевщины, получали уже по 10, а потом и 20-25 лет тюремного заключения. Причем получался своеобразный парадокс: так как раньше брали тех, кто хоть как-то был связан с оппозицией, то в составе каэртедешников были люди, некогда голосовавшие неправильно или воздержавшиеся при голосовании. А среди наших, несмотря на большие сроки и жестокий режим, сложившийся благодаря особенности времени нашего ареста, преобладали ортодоксальные коммунисты, работники партийных аппаратов, партийная интеллигенция, не состоявшая в оппозициях. Но кто обращал внимание на это несоответствие?

— У патриархальных немок полагалось класть в основу жизни три или даже четыре «к» — киндер, кюхе, кирхе, кляйдер, — шутили на транзитке наши, — а у нас сейчас складывается жизнь из четырех «т» — троцкизм, терроризм, тяжелый труд.

И еще шутили в связи с медицинским осмотром, который мы проходили на транзитке:

— Дышите, — говорит врач, прикладывая ухо, и спрашивает: — Какая статья?

— Тюрзак... 10 лет...

— Не дышите...

Да, дышать трудновато было. С цинизмом, уже никого не удивлявшим, лагерная медицина «комиссовала» в строгом соответствии со статьями и пунктами. «Тюрзакам» полагался «тяжелый

лый труд» — первая категория здоровья. И ее ставили. Достаточно сказать, что за четыре часа до смерти « первую категорию здоровья» получила Таня Станковская.

Впервые мы столкнулись здесь с лагерной медициной, и нам открылось новое в профессии врача. Во-первых, эта профессия может спасать ее обладателя от гибели, потому что он почти всегда нужен как врач, даже если у него «тюрзак». Во-вторых, врачу в лагере труднее, чем всем прочим смертным, сохранить душу живую, не продать за чечевичную похлебку совесть, жизнь тысяч товарищей. Его искушают ежеминутно и теплым закутком в «барае обслужи», и кусочком мяса в баланде, и чистой телогреечкой «первого срока». Мы еще не знали, кто из наших товарищей-врачей устоит против соблазнов, кто выстоит (это стало видно уже на Колыме). Но все сразу заметили, что, став членом медицинской комиссии и прикрыв ярославскую формочку белым халатом, а бритую голову косынкой с красным крестом, Аня Понизовская из суз达尔ской тюрьмы сразу перестала горбиться, а в голосе ее зазвучали металлические нотки, пока еще, впрочем, довольно мелодичные.

Транзитка представляла собой огромный, отгороженный ключей проволокой загаженный двор, пропитанный запахами аммиака и хлорной извести (ее без конца лили в уборные). Я уже упоминала об особом племени клопов, населявших колossalный сквозной деревянный барак с тремя ярусами нар, в который нас поместили. Впервые в жизни я видела, как эти насекомые, подобно муравьям, действовали коллективно и почти сознательно. Во-преки своей обычной медлительности, они бойко передвигались мощными отрядами, отъевшиеся на крови предыдущих этапов, наглые и деловитые. На нарах невозможно было не только спать, но и сидеть. И вот уже с первой ночи началось великое переселение под открытое небо. Счастливчикам удавалось где-то раздобыть доски, куски сломанных калиток, какие-то рогожи. Те, кто не сумел так быстро ориентироваться в обстановке, подстилали на сухую дальневосточную землю всё тот же верный ярославский бушлат.

Я никогда не забуду первую ночь, проведенную на транзитке под открытым небом. После двух лет тюрьмы я впервые видела над своей головой звезды. С моря доносилось дыхание свежести. Оно было связано с каким-то обманчивым чувством свободы. Созвездия плыли над моей головой, иногда меняя очертания. Со мной снова был Пастернак...

Ветер гладит звезды  
горячо и жертвенно...  
Вечным чем-то,  
чем-то зиждущим, своим...

Мелодию этих стихов пела почти на одной ноте телеграфная проволока. Воздушные волны с моря окончательно пересилили терпкий запах хлорки. Делаю усилие над собой — и вот я ощущаю почти счастье. Ведь до утра, когда надо снова начинать жить, еще далеко. А сейчас — стихи и звезды, и совсем недалеко море. Я снова напоминаю себе, что Владивосток — это порт, что отсюда ежедневно в далекие неведомые края устремляются пароходы. И может быть, «Транзитка» — это только название парохода, на котором мы едем...

Закрываю глаза, отдаваясь головокружительной встрече с природой после такой долгой разлуки. Плытвем, плывем... Куда же он, наш Ноев ковчег? Мерцают над ним звезды, мерцают наши жизни — огоньки на ветру, зыбкие, неверные...

Утром, когда в предрассветных сумерках обозначились все цвета и оттенки, я замерла от восторга, увидев в углах двора редкие кустики крапивы и огромные пыльные лопухи. Они ошаршили меня своим зеленым великолепием. Я совсем забыла о ядовитом нраве крапивы, любуясь ее красотой. А доверчивые, добродушные лопухи... Они ведь пришли сюда из далекой страны моего раннего детства, попали в такую даль с нашего арбатского переулочного заднего дворика.

— Подъем! Завтрак!

Еду привезли в походных кухнях, и мы сразу выстроились в огромные очереди. Давали очень горячую баланду и даже какие-то смертоносные «тирошки», от которых сразу удвоилось количество так называемых «поносников», составлявших наиболее многочисленный отряд нашего этапа.

Первые три дня, пока шла медицинская «комиссовка», наш этап еще не посыпали на работу, и время уходило больше всего на новые знакомства. С жадностью недавних одиночников мы говорили и не могли наговориться с лагерницами, большой этап которых находился здесь, на транзитке, уже больше месяца. И снова — судьбы, судьбы... Безумные по неправдоподобности и в то же время до подлинные. Трагические по сути, но часто состоящие из серии комических по своей несообразности эпизодов.

— Где-то мы с вами, товарищ, определенно встречались, — возбужденно говорила Софья Межлаук — жена заместителя Молотова — из этапа лагерниц, глядя на нашу Таню Крупеник.

— Да, мне ваше лицо тоже знакомо... Одно из двух: или мы видели друг друга в правительственном доме отдыха или в Бутырской тюрьме...

Все мы старательно разматывали клубок времени в обратном направлении. Каждая начинала с момента ареста, и в тысячный раз мы слушали варианты всё той же сказки про Великого Людоеда. Лагерницы знали куда больше нас. Во-первых, большинство из них было арестовано позднее, во-вторых, их режим, куда более мягкий сравнительно с нашим, допускал некоторое общение с вольными во время работы.

В тот день, когда я сидела в стороне от всех, потрясенная смертью Тани Станковской, ко мне подошла молоденькая девушка с милым, похожим на крепкое яблочко, лицом и сказала тихо:

— Не мучайтесь так о подруге. Здесь умирают слишком часто, чтобы позволить себе так реагировать на смерть. Переключите мысль на другое. Например, на вашу семью, там, на воле. Остался кто-нибудь?

— Дети... Родители... Муж взят.

— Так вот. Я работаю за зоной. Пишите письмо. Опушу в ящик. Получат.

Возможность послать маме письмо, не имея в качестве соавтора ярославского цензора! Это уже чего-нибудь стоит... И я усеивая два крошечных блокнотских листка микроскопическими буквами, чтобы больше уместилось. Блокнот, из которого девушка вырвала эти два листка, сунув его обратно довольно небрежным движением в карман, кажется мне настоящим чудом, как будто она вынула из кармана горсть бриллиантов. И так небрежничать с такой вещью! Окончательно захлебываюсь от изумления и восторга, когда моя благодетельница с такой же небрежностью дает мне конверт... Настоящий конверт с маркой!

Я всё еще не верю счастью и отдаю ей готовое письмо с таким чувством, с каким, наверное, потерпевшие кораблекрушение бросают в море бутылку с мольбой о помощи.

Эта двадцатидвухлетняя Аллочка Токарева из лагерного этапа (статья КРД — срок 10 лет), почувствовавшая ко мне симпатию, была в течение всего месяца, проведенного мной на владивостокской транзитке, моим добрым гением. Она очень тактично и доброжелательно вводила меня в новый для меня мир.

— Когда будут всякие документы на вас заполнять, — учила она меня, — говорите, что вы до филологического учились на медицинском и дошли до четвертого курса.

— Зачем? — поражаюсь я.

— Если на Колыме понадобятся медсестры, это ваше медицинское образование могут вспомнить. Будете медсестрой... В помещении. Не на кайловке, не на лесоповале...

— Так ведь это ложь! Я ведь всё равно не смогу работать медсестрой...

— Чего там не смочь! Людям еще лучше, если порядочный человек на такой работе. Будете доходяг спасать. Взяток брать от них не будете.

— А лечить?

— Не смешите... В лагере лечат одним — освобождением от работы на день-два...

— Не могу врат...

— Надо научиться...

Такие речи в устах молодой девушки с круглым ребяческим «яблочным» лицом казались продолжением великого Безумия.

Но на первых порах я была не очень понятливой ученицей и сразу же испортила отношения с личностью, облеченней великой властью, с некой Тамарой, носившей высокий титул «начальника колонны».

Тамара была первым настоящим лагерным «придурком», с которым меня свела судьба. Как ни странно, она была политическая («пятьдесят восьмая»). У нее даже, кажется, было КРТД. И уж если она, несмотря на эту статью, сумела занять такую должность, то значит... Но мне всё это стало ясно позднее. А тогда, узнав, что Тамара — бывший комсомольский работник из Одессы, я просто подошла к ней с вопросом, не прибыли ли вместе с нами и наши личные вещи из Ярославки. Вопрос этот был для меня очень острым, потому что красные домашние тапочки, которыми я измерила сотни километров по одиночной камере, совсем развалились, бахил мне не выдавали, и я оказалась практически совсем босиком. В личных моих вещах находились мои старые, но еще вполне крепкие черные туфли, и я мечтала о них страстно, даже во сне их видела.

Свой вопрос я задала, конечно, в самой вежливой форме, называя Тамару товарищем, как принято было у нас, тюрзаков.

— Видали малохольную? — обратилась Тамара к своей заместительнице из бытовичек, следовавшей за ней по пятам.

Красивое, правильное лицо Тамары, нормально окрашенное в розовый цвет и выделявшееся этим среди наших серо-желтых лиц, стало красным от гнева. Как я узнала потом, она принадлежала к типу тех «придурков», которые всегда находятся в состоянии «подогрева» и ждут только случая, чтобы напуститься на кого-нибудь.

— Чемоданы ваши еще не прибыли, мадам-туристка, — издавательски бросила она мне в лицо. — И товарищем меня не зови! Свиней с тобой вместе не пасли... И по делишкам своим обращайся к своему старосте, а не ко мне...

Всё это она кричала фальцетом, постукивая кулаком по столу, привлекая к себе и ко мне всеобщее внимание. Ее гнев на меня за нарушение субординации, за тон равной полыхал не меньше пяти минут.

Я углубила инцидент, сказав в ответ:

— Извините, вы действительно не товарищ, — я ошиблась...

Нажила себе ни с того, ни с сего могущественного смертного врага. Это обрело конкретные очертания уже на третий день, когда меня, еле стоявшую на ногах от истощения, цинги, дистрофического поноса, направили на работу по разгрузке каменного карьера.

Междуд прочим, некоторые одесситки, знавшие Тамару «по воле», говорили, что до ареста она была очень хорошей девчонкой, активной комсомолкой, приветливой и доброжелательной к людям. Потом я нередко встречала образцы такого полного смещения личности в условиях лагерной борьбы за существование. Прежнее оказывалось у некоторых вытесненным окончательно. На его месте возникал другой человек, и этот человек был страшен.

Это были как бы деревянные куклы-марионетки, без привязанностей, без душевной жизни, и, главное, без памяти. Такие люди никогда не вспоминали о воле, о человеческом периоде своей жизни. Эти воспоминания обременяли бы их.

Одесситки, находившиеся на транзитке, отлично знали это и никогда не подходили к Тамаре как старые знакомые. Став Иваном, родства не помнящим, она этим как бы ограждала себя от осуждения своих поступков, а главное — тех событий, жертвой которых стала и она сама. Ее постоянное состояние «подогрева» и так называемая «раздражительность», то есть готовность скандалить и оскорблять людей, находящихся под ее властью, объяснялись презрением к людям и подсудным страхом перед ними. Своих многочисленных угодников и подхалимов Тамара снисхо-

дительно презирала. Те же, кто молчанием и взглядами показывали, что понимают механизм ее деятельности, она остро ненавидела и преследовала.

Я своим наивным обращением «товарищ» вызвала в ней воспоминания о том прошлом, которое она считала несуществующим, которое мешало ее сегодняшней карьере. Поэтому она и ответила мне таким взрывом. После столкновения с ней я стала догадываться о сущности этого психологического типа, выявленного условиями лагеря. И всегда при встрече с Тамарой вспоминала строчки Блока:

...Как страшно мертвому среди людей  
живым и страстным притворяться!  
Но надо, надо в общество вторгаться,  
скрывая для карьеры лязг костей...

Много таких духовно мертвых людей я встречала потом на своем лагерном пути. В тюрьме таких не было. Тюрьма, особенно одиночная, наоборот, возвышала людей, очищала их нравственно, раскрывала все глубинные алмазы и золотые россыпи душ.

...В каменном карьере мне довелось узнать, что такое каторжные работы. Установилась июльская жара. Беспощадные дальневосточные прямые ультрафиолетовые лучи. От камня, даже на расстоянии, пышет адским жаром. И главное — мы, больше двух лет не видевшие ни лучёнышка, отвыкшие в одиночках от всякого физического действия, больные цингой и пеллагрой... после до-канавшего нас седьмого вагона. Именно нам предстояло спрятаться с этими земляными и «каменными» работами, требующими даже от мужчин большой силы и выносливости.

Удивительно, как редки были на этом солнцепеке солнечные удары. Я вспоминаю два случая. Один раз это была Лиза Шевелева, личный секретарь Елены Стасовой по коминтерновской работе. Она потом умерла в магаданской больнице заключенных, сразу после морского этапа. Другой была Верико Думбадзе, девочка, арестованная за отца в возрасте 16 лет. Их отнесли на тех же носилках, на которых мы таскали камни, в больницу, но уже через два дня обе были снова выписаны на работу.

В уме все время проносились разные книжные ассоциации. Новая Каледония. Жан Вальжан на каторге. Каторжник, прикованный к тачке... Вот как, оказывается, выглядит все это в жизни.

Придурки транзитки, не уставая, твердили нам, что эта работа — сущий рай для наших статей и сроков. Ведь с нас пока не требуют нормы. А еду дают как за сто процентов. Вот на Колыме будет другое. Там норму подай! А здесь — так просто передышка для нас в ожидании морского этапа. Несмотря на такой либерализм, у многих из нас открылись на ногах трофические язвы. По ночам, хоть они и проходили под открытым небом, трудно было заснуть от натруженного дыхания, стонов и вскриков сотен голов. На зубах всё время скрипела каменная пыль.

У многих уже начиналось лагерное отупение. Они уже научились смотреть как-то точно сквозь туман, точно мимоходом, и на умирающих, и на больных куриной слепотой, бродивших по вечерам с поводырями, протягивавших вперед дрожащие руки, и на орды клопов, ползавших по нарам. У некоторых даже появилась уже страшная нищенская привычка выставлять свои трофические язвы и лохмотья оборвавшейся ежовской формочки напоказ.

Но это было меньшинство. Огромное большинство активно сопротивлялось. Еще любовались и летучими утренними туманами, и удивительными фиолетовыми закатами, горевшими над нами в час возвращения из каменного карьера, еще радовались близкому соседству с огромным флотом, которое ощущалось каким-то шестым чувством. И стихи... Мы всё еще читали их друг другу по ночам. Мы всё еще жили в том сладостно-горьком мире чувств, которым так щедро одарила нас ярославская одиночка. Я инстинктивно чувствовала, что пока меня волнует и этот ветер, и эти пламенеющие звезды, и стихи, — до тех пор я жива, как бы ни тряслись ноги, как бы ни гнулся позвоночник под тяжестью ног силок с раскаленными камнями. Именно в том, чтобы сохранить в душе все эти последние сокровища, и заключалось теперь сопротивление наступающему на нас Страшному Миру.

Уже появились среди нас люди, затосковавшие по одиночным камерам.

— Честное слово, было лучше. Всё-таки было чисто. И были книги. И не было этого отупляющего скотского труда...

— Если бы нас не вывезли, мы умерли бы там все не позднее будущего года от цинги...

— А сейчас? Вы думаете дожить до будущего?

...Однажды на рассвете, когда в разрывах облаков еще трепетали побледневшие звезды, весь наш табор был разбужен Надей

Лобыриной. Надя была эсеркой и, несмотря на свой тридцатилетний возраст, казалась нам живым анахронизмом. Очки, старомодная прическа и манера говорить — всё это были детали образа курсистки девяностых годов. Но в этот момент Надя вела себя как таежный следопыт или вождь краснокожих из майнридовской книжки. Она приложила ухо к земле и слушала, приподняв палец. Потом вскочила с доски, на которой спала, и свистящим шепотом объявила:

— Идут! Этап идет... Огромный... Мужчины, наверно! Мы ведь говорили вам.

Многие с сожалением посмотрели на Надю. Галлюцинации? Психоз? Ничего удивительного...

Но эта фантастика оказалась чистейшей правдой. Этап пришел. Огромный мужской этап, параллельный нашему, тоже тюрзаковский, из Верхнеуральского политизолятора. Тоже одиночники. Тоже, в основном, коммунисты. Мужчины. *Наши* мужчины.

Так сбылось предсказание эсерок в одной своей части. Только встречи с родными стали теперь, при гигантском масштабе всего действия, почти невозможными. Я уже писала, что одной только Павочке Самойловой посчастливилось встретить брата.

Нас не гонят от проволоки, отделяющей нашу зону от мужской. И мы смотрим, смотрим, не отрывая глаз, на плывущий перед нами мужской политический этап. Они идут молча, опустив головы, тяжело переставляя ноги в таких же «бахилах», как наши, ярославские. На них те же «ежовские формочки», только штаны с коричневой полосой выглядят еще более каторжными, чем наши юбки. И хотя мужчины, казалось бы, сильнее нас, но мы все жалеем их материнской жалостью. Они кажутся нам еще более беззащитными, чем мы сами. Ведь они так плохо переносят боль (это было наше общее мнение!), ведь ни один из них не умудрился так незаметно постирать бельишко, как это умеем мы, или починить что-нибудь... Это были наши мужья и братья, лишенные в этой страшной обстановке наших забот.

— Бедный, и пуговку некому пришить... — вспомнил кто-то эту формулу женской любви из раннего эренбурговского романа.

Каждое лицо кажется мне похожим на лицо моего мужа. У меня уже ломит виски от напряжения. Кругом меня все тоже вглядываются. И вдруг...

Вдруг кто-то из мужчин наконец заметил нас.

— Женщины! *Наши* женщины!

Я не умею описать того, что произошло потом. Не нахожу

слов. Это было подобно мощному электротоку, который разом, одновременно пронизал всех нас по обе стороны колючей проволоки. Как ясно было в этот момент, что в самом сокровенном мы все похожи друг на друга! Всё подавляемое в течение долгих двух лет тюрьмы, всё, что каждый поодиночке носил в себе, вырвалось наружу и бушевало теперь вокруг нас, в нас самих, казалось, даже в самом воздухе. Теперь и мы и они кричали и протягивали друг другу руки. Почти все плакали вслух.

— Милые, родные, дорогие, бедные!  
— Держитесь! Крепитесь! Мужайтесь!

Кажется, такие или приблизительно такие слова кричали с обеих сторон.

После первого взрыва начались поиски своих. В ход пошла география. Причем партийная география. Так как огромное большинство заключенных мужчин были арестованные коммунисты, перекличка, начавшаяся между нами, выглядела, примерно, так:

— Ленинград! Обком партии!  
— Из Днепропетровского обкома комсомола есть кто?  
— Уфимский горком! Здесь ваш первый секретарь!

Потом начали перебрасываться «подарками». Душевное напряжение жаждало излиться действием. Каждый по обе стороны хотел отдать что-то свое. Но ни у кого ничего не было. И началось такое:

— Возьмите вот полотенце! Оно еще не очень рваное!  
— Девочки! Котелок кому надо? Сам сделал, из краденой тюремной кружки...  
— Хлеб, хлеб держите! После этапа ведь отошли вы совсем.

Сразу начались бурные романы. Эти человеческие существа, уже почти бесплотные, соприкоснувшись друг с другом, сразу, как по волшебству, приобрели утраченную от безмерных страданий остроту восприятия мира. Завтра их разведут в разные стороны, и они никогда больше не увидятся. Но сегодня они взволнованно смотрят в глаза друг другу через ржавую, колючую проволоку и говорят, говорят...

Более высокой самоотверженной любви, чем в этих однодневных романах незнакомых людей, я не видела в жизни. Может быть, потому, что тут любовь действительно стояла рядом со смертью.

Ежедневно мы получали от наших мужчин длинные письма. Коллективные и индивидуальные. В стихах и в прозе. На засаленных листочках бумаги и даже на обрывках тряпья. В трепет-

ной чистой нежности этих писем выливалась их поруганная мужественность. Мы были для них собирательным образом женственности. Они цепенели от тоски и боли при мысли, что над нами, *их* женщинами, проделывалось всё то нечеловеческое, через что прошли они сами.

Я помню начало первого коллективного письма: «Родные вы наши! Жены, сестры, подруги, любимые! Как сделать, чтобы вашу боль переложить на нас?...»

Несмотря на то, что и в мужской, и в женской зонах была масса народа, знакомых «по воле» почти не было. Те, кто встретил хотя бы земляков, считались счастливчиками. Из Казани в этом этапе был смешной молоденький татарский поэт, бывший детдомовец, избравший себе увлекательный псевдоним — Гений Республиканец. Но за то, что он из Казани, я прощала ему даже этот псевдоним. Часами мы с ним стояли у разделяющей нас проволоки, без конца перечисляя казанские фамилии. Просто фамилии. Как заклинанья. Как подтверждение того, что они не приснились мне, все эти ученые, поэты, партийные работники. Что на свете живут не только жандармы, придурки, вохровцы и доходяги.

Судьба этого мужского этапа была трагична. Их очень быстро, не дав оправиться после поезда, стали грузить на пароход для отправки на Колыму. От транзитки до порта надо было идти пешком сколько-то (порядочно!) километров. В день этапа произошла какая-то задержка с выдачей хлеба, и мужчин погнали голодных. Пройдя несколько километров по солнцепеку, они стали падать, а кое-кто и умирать. Остальные тогда сели на землю и заявили, что пока не выдадут хлеба, они дальше не пойдут.

Организованные протесты случались не часто среди привычных к дисциплине заключенных — бывших коммунистов. Охрана и конвой обезумели. С перепугу наделали много лишнего. Они толкали мертвых сапогами по методу лекарей бравого солдата Швейка («Уберите этого симулянта в морг»). Они убили несколько волочивших ноги людей «при попытке к бегству». А остальных всё-таки пришлось вернуть на транзитку еще на неделю.

Как всегда после взрыва репрессий, стали немного подкармливать. Участились те самые смертоносные «пирожки», баланда стала гуще. Пирожки эти, как теннисные мячики, летали через проволоку, потому что наши милые товарищи все хотели отдать нам, а мы не брали, перебрасывали их обратно, уверяли, что очень сыты.

Аллочка Токарева, у которой завязался пламенный роман с одним парнем из Харькова, простоявала у проволоки целые ночи

напролет. Глаза ее горели фанатичным блеском. От ее лагерного благоразумия не осталось и следа. Она готова была, если надо, броситься с кулаками на «начальника колонны» — самодержицу Тамару. Но та смотрела очень равнодушно на «этую беллетристику». Никакой серьезности она не усматривала в платонических излияниях у проволочного заграждения.

— Пусть их! Лишь бы счет сходился при проверке... На то и транзитка...

Наша бригада по разгрузке каменного карьера становилась всё меньше. Авитаминозный понос косил людей, превращая их в тени. В больницу, как правило, попадали только явные смертники, да и то не все. Остальные лежали вповалку на земле или на нарах, вскакивая ежеминутно, чтобы бежать в уборную. Те, кто еще держался на ногах, приходя с работы, подавали больным желтую, пахнущую гнилью воду из бочек, а иногда, придя в отчаяние, бежали за «лекпомом», который совал прямо грязными пальцами в раскрытые рты высохшие таблетки салола.

Сроки пребывания на владивостокской транзитке были очень различны и для отдельных заключенных, и для целых этапов. Для некоторых это был только перевалочный пункт, с которым расставались через несколько дней. Другие находились здесь целями месяцами. А отдельные «придурки», сумевшие приспособиться к требованиям здешнего начальства, жили здесь годами.

Пути из транзитки шли в разные стороны. Господин УСВИТЛ (управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей) был богатым помещиком. Его экономии расстилались на огромных просторах этого края. Но тюрзаку, как правило, путь лежал только на Колыму. Страшная психологическая загадка, — это слово, пугавшее всех на воле, не только не пугало, но даже как-то обнадеживало нас, обитателей транзитки.

- Скорей бы уж в этап!
- На Колыме хоть сыты будем!
- Любой мороз лучше этого пекла!..

В таких возгласах изливалась сокровенная потребность человеческой души в надеждах. Пусть самых призрачных... Очень влияли на настроение и те слухи о Колыме, которые распространяли по транзитке некоторые бытовики-рецидивисты, уже побывавшие там. Их рассказы, правда, относились к периоду 35-36 года, но всё равно выслушивались с жадностью. Сдобренные хорошей дозой вранья и хвастовства, эти повествования создавали образ некоего советского Клондайка, где инициативный человек

(даже заключенный!) никогда не пропадет, где сказочные богатства, вроде огромных кусков оленины, кетовой икры, бутылок рыбьего жира, в короткий срок возвращают к жизни любого доходягу. Не говоря уже о золоте, на которое можно выменивать табак и барахло.

— Самое главное — не тушуйтесь, девчата! Колыма — она всех примет, накормит и оденет! — так рассказывал желтоволосый молодой «придурок» по имени Васёк-растратчик. Васёк составлял списки этапов, всегда знал кучу новостей и охотно делился ими. Он бывал на Колыме уже дважды, а сейчас отбывал третий срок за растрату, совершённую в Магадане. Колымскому патриотизму Васьки не было пределов.

— Что, жарко? — жалостливо осведомлялся он, проходя мимо нашей бригады каменщиков, изнемогающей от зноя, — ничего, скоро на Колыму поедете. Там прохладно.

И Васек запевал пронзительным голосом:

Колыма ты, Колыма, дальняя планета,  
Двенадцать месяцев зима, остальное — лето...

По складу натуры Васёк-растратчик был похож на горьковского Луку. Он не упускал случая утешить страдающего ближнего своего. Даже для больных куриной слепотой он находил слова надежды. И его жадно слушали.

— Ничего, девки, вам только до Колымы добраться бы! Там, знаешь, как морзверя есть будете? Килами! Прямо в зоне, в бочках стоит, вот как здесь вода! Живой витамин А, спроси хоть лекома! Для глаз, главное дело, лучше нет. Как сжуешь куска двадцати, — всё! И забудешь про куриную слепоту эту.

И для пожилых женщин, которых в этапе было, правда, немного, но которые страдали больше нас, молодых, Васёк-растратчик изыскивал радостные перспективы.

— Не тушуйся, мамаша, само главное — не тушуйся! На Колыме ты еще не старуха будешь. Там, знаешь, как говорится? Сорок градусов — не водка, тысяча верст — не дорога, тысяча рублей — не деньги, шестьдесят градусов — не мороз, а шестьдесят лет — не старуха! Мы тебя, мамаша, еще замуж отадим, увидишь!

И хотя всем было ясно, что все Васькины рассказы надо, как говорили наши следователи, «перевести на язык тридцать седьмого года», всё же его речи об обетованной земле, стране Колыме, как сладкий яд проникали в сознание многих.

Всё чаще стали наши бредовые ночи, наряду со стонами и скрежетом зубов, прорезываться возгласами:

— Хоть бы уж скорее на Колыму!

И Васёк-растратчик, ведавший этапными списками, стал частенько подмитывать нам, шепча своим утешительным голосом:

— Скоро уж!

#### 4. ПАРОХОД «ДЖУРМА»

Это был старый, видавший виды пароход. Его медные части — поручни, каемки трапов, капитанский рупор — всё было тусклое, с прозеленью. Его специальностью была перевозка заключенных, и вокруг него ходили зловещие слухи о том, что в этапе умерших зека бросают акулам даже без мешков.

Нас почему-то долго не принимали на борт, и мы несколько часов качались в огромных деревянных лодках, стоявших на причале, у набережной. Экипаж «Джурмы» неторопливо подготавливал судно к рейсу. Мы видели матросов, гонявших по палубе тяжелые веревочные швабры, видели капитана и штурмана, бесцеремонно разглядывавших нас в бинокли.

День отплытия был пасмурный, с низкими неподвижными тучами над головой. Только временами в тучах возникали промоины, а сквозь них просачивались столбы солнечного света. Куски грязновато серой пены бились об иллюминаторы. Казалось, даже воздух насыщен тревогой и ожиданием беды. И всё-таки ко всему примешивалось еще и любопытство. Ведь как бы то ни было, а мне предстоял первый в моей жизни морской переход.

Сидеть в лодке было очень неудобно и томительно. В тесноте затекли ноги, от голода и морского воздуха кружилась голова и всё время подташнивало. Но самое ужасное — это было пение. Даже сейчас, спустя двадцать пять лет, я краснею от стыда при воспоминании об этой «художественной самодеятельности», хотя лично я за нее не в ответе. Ведь это не ~~я~~ и не моим друзьям пришла в голову идея затянуть задорные комсомольские песни.

Ира Мухина на воле была балериной, сидела по шестому пункту за какой-то ужин с иностранными поклонниками своего таланта. Вид открывшихся перед нами водных просторов навел ее на мысль о Волге, и она запела:

Красавица народная, как море полноводная...

Несколько голосов подхватило:

Как родина, свободная...

— Замолчите, сейчас же замолчите, — кричала Тамара Варашвили, — где ваше человеческое достоинство?

— Чего ты хочешь от этой капеллы из края напуганных идиотов? — с гримасой глубокого отвращения перебила ее Нина Гвишиашвили.

Обиженные хористы демонстративно перешли на фортификацию. Напрасно Аня Атабаева, бывший секретарь райкома партии из Краснодара, пыталась своим басовитым голосом перекричать их, убеждая, что в этой обстановке такое пение о свободной родине может быть воспринято как насмешка и вызов.

Ах, какой там вызов! Я лично восприняла этот хор как постыдное пресмыкательство. До сих пор с содроганием вспоминаю, как заулыбался капитан «Джурмы» и его штурман, как они зашептались и стали передавать из рук в руки бинокль, чтобы получше разглядеть оригинальных любительниц хорового пения...

Посадка... Посадка... Какие-то подъемы, спуски, карабканье по утлым лесенкам. Кажется, я держусь на ногах только потому, что упасть некуда. Мы движемся плотной массой, я льюсь как капли этой серой волны. Я больна. Я совсем больна. Еще утром в день этапа у меня был сильный жар и неудержимый цинготный понос. Я скрыла это, чтобы не отстать от этапа, от друзей. И сейчас, во время посадки на «Джурму» сознание мое по временам потухает, и я живу в отрывочном, не совсем связном мире.

Наконец-то мы в трюме. Здесь плотная, скользкая духота. Нас много, очень много. Мы стиснуты так, что не продохнуть. Сидим и лежим прямо на грязном полу, друг на друге. Сидим, раздвинув ноги, чтобы между ними мог поместиться еще кто-нибудь. Ах, наш седьмой вагон! Как он был, оказывается, комфортабелен! Ведь там были нары.

Но лишь бы скорее отплыть. Нам кажется, что пароход сейчас отвалит. Мы слышим, как корпус его трется о пирс, поскрипывает. Слышишь, как снуют возле парохода какие-то лодки, ялики, катера. Вроде, весь этап уже погружен. Вот провели мужчин в соседнюю часть трюма.

Но нет, самое страшное было еще впереди. Первая встреча с настоящими уголовниками. С блатнячками, среди которых нам предстоит жить на Колыме.

Нам казалось, что в наш трюм нельзя больше вместить даже котенка, но в него вместили еще несколько сот человек, если условно называть людьми тех исчадий ада, которые хлынули

вдруг в люк, ведущий к нам в трюм. Это были не обычные блатнячки, а самые сливки уголовного мира. Так называемые «оторванные», рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений. Я и сейчас убеждена, что таких надо изолировать не в тюрьмах и лагерях, а в психиатрических лечебницах. А тогда, когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривляющихся, в обезьяничьих ужимках, рож, мне показалось, что нас отдали на расправу толпе буйно помешанных.

Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения. Они всегда пели и плясали, отбивая чечетку даже там, где негде было поставить ногу. Они сию же секунду принялись терроризировать «фраеров», «контриков». Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди еще более презренные, еще более отверженные, чем они, — враги народа!

В течение пяти минут нам были продемонстрированы законы джунглей. Они отнимали у нас хлеб, вытаскивали последние тряпки из наших узлов, выталкивали с занятых мест. Началась паника. Некоторые из наших открыто рыдали, другие пытались уговаривать девок, называя их на «вы», третьи звали конвойных. Напрасно! На протяжении всего морского этапа мы не видели ни одного представителя власти, кроме матроса, подвозившего к нашему люку тележку с хлебом и бросавшего нам вниз эти «пайки», как бросают пищу в клетку диким зверям.

Спасла нас Аня Атабаева, секретарь райкома партии из Краснодара, плотная, смуглая женщина лет тридцати пяти, с властным низким голосом и большими руками бывшей грузчицы. Она размахнулась и изо всей своей богатырской силы двинула по скуче одну из девок. Та рухнула вниз, и в трюме на секунду воцарилась изумленная тишина. Аня воспользовалась этим и, вскочив на какой-то тюк, возвысившись, таким образом, над толпой, отпустила громовым голосом такую пулеметную очередь отборной ругани, что блатнячки обомлели. Жалкие твари, они были столько же трусливы, сколько подлы. Аня, первая из нас, поняла, что к ним относится поговорка «молодец среди овец, а на молодца — сам овца».

Сила, исходившая от всей Аниной личности, загипнотизировала их. К тому же, и форма, в какой эта сила была выражена, оказалась доступной их пониманию.

— Кто такая? — спрашивали они друг друга, со страхом и уважением поглядывая на оригинальную «фраерку». Из разных

углов трюма понесся пущенный кем-то из наших ответ: «Староста! Староста!»

Это было им понятно. Староста. Она может дать по морде, а то и упрятать в «кандей».

— Отдать хлеб и барахло! — командовала Аня страшным голосом.

И они отдали. Мат, конечно, продолжал висеть в воздухе, продолжались и визги, и непотребные песни, но активная агрессия против «политиков» была приостановлена.

...Плырем. Кажется, уже третьи сутки. Дни и ночи слились. Открываю глаза и вижу гроздья человеческих лиц. Воспаленные глаза, бледные грязные щеки. Терпкая вонь. Особенной качки нет, но тех, кто сильно ослабел, всё же рвет. Прямо на соседок, на кучи грязных узлов. Впервые на нашем уже почти трехлетнем скорбном пути появляются вши. Их принесли блатнячки. Жирные белые вши ползают прямо поверху, не давая себе труда прятаться в швах одежды.

Это был один из счастливых, вполне благополучных рейсов «Джурмы». Нам повезло. С нами не случилось никаких происшествий. Ни пожара, ни шторма, ни затопления, ни стрельбы по беглецам. Вот Юля моя, оставшаяся из-за болезни на транзитке на две недели дольше меня, ехала потом на той же «Джурме», и случился пожар. Блатари хотели воспользоваться паникой для побега. Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали, их заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. И вода эта от пожара закипела. И над «Джурмой» потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона.

С нами никаких подобных ужасов не приключилось. Мы просто шли этапом на «Джурме». К нам был даже проявлен гуманный подход. Иногда люк оставляли открытым, и мы видели кусок торжественно неподвижного неба над морем, а оно всё стояло над нами. А потом, когда поносников стало уж очень много, нам разрешили даже выходить по лестнице на нижнюю палубу в галюн.

Однажды я упала на этой лестнице, потеряв сознание. Очнулась через несколько секунд, услыхав над головой волшебные слова:

— Вам очень плохо, товарищ?

Мужской голос. Интонация интеллигентного человека. Это — врач, заключенный врач. Он следует на Колыму тем же этапом. Его используют как врача в трюмном изоляторе. Неужели есть

такое лечебное учреждение? Кого же туда класть? Разве в этапе есть здоровые? А-а... Оказывается, тех, у кого высокая температура. И, кажется, я как раз отношусь к таким, потому что — по крайней мере на ощупь — доктор считает, что у меня не меньше тридцати девяти.

Еще несколько фраз с обеих сторон, и выясняется, что на воле доктор Кривицкий вовсе не был доктором. Он был заместителем наркома авиационной промышленности. А медицину изучал еще до революции, когда был в эмиграции, в Цюрихе. Я из Казани? Он года три назад был в Казани на открытии Авиационного завода. Аксенов? Председатель горсовета? Ну как же, он знает. Позвольте, — завнаркома ведь знакомился с его женой! Такая дама... Это... это были вы?

...Да, Кривицкий не обманул. В больничном изоляторе были нары. А на них впритирку друг к другу лежали вповалку все больные. *Все!* Мужчины и женщины. Политики и блатари. Поносники и сифилитики. Еще живые и те мертвцы, до которых руки не дошли, чтобы вытащить. В углу стояла огромная параша, которой *все* — и мужчины и женщины — пользовались открыто, на глазах у всех.

У меня оказалось сорок и три. Меня втиснули между мужчиной и женщиной на нижние нары. По протекции доктора Кривицкого. Соседом слева оказался рослый бандюга. Он лежал почти голый, в бреду кричал страшное, а мне казалось, что огромный алчный орел, вытатуированный на его груди, сейчас клюнет меня своим клювом, приходившимся как раз на высоте моего носа. Справа стонала Софья Петровна Межлаук, жена заместителя Молотова.

— Если я умру, передайте моей дочери, что я ни в чем не виновата, — повторяла она всё время, хватая меня за руки.

Кажется, это был субботний вечер, и наверху, в капитанской рубке, веселились. Шаркали ноги танцующих. А фокстрот всё время повторяли один и тот же.

Сумерки тихо спускались,  
звезды сплелись в хоровод...  
В шумном большом ресторане  
Кэтти танцует фокстрот...  
Ах, ах, ах...

Мне снова кажется, что я играю роль в каком-то кинофильме. Сейчас снимем крупным планом шаркающие ноги танцующих. Потом — таким же крупным — голые ляжки вот этого старика, сидящего на параше. Дрожащие, тощие, как у ободранного петуха, покрытые синей кожей... Нет, этого, наверное, нельзя снимать, это будет грубый натурализм.

Наверху хохочут всё громче. Выпили, видно, здорово. И опять «Кэтти танцует фокстрот... Ах, ах, ах...». Что? У них других пластинок нет, что ли?

Мне надо в уборную. Нет, нет, не могу я здесь. Они почти мертвцы, но они мужчины. Пойду наверх...

Я нечеловеческим усилием подтягиваюсь на локтях, и мое тело выдавливается из глубины нар. Ночь. Кривицкий спит в закутке, отведенном для врача. Как хорошо быть врачом! Он спит на двух отдельных табуретках... Хорошо, что он спит. Ни за что не позволил бы мне идти наверх, специально предупреждал, чтобы не смела, что могу умереть на ходу.

Поднимаюсь по крутой пароходной лестнице почти на четвереньках. Долго поднимаюсь. Наверное, час. Наконец вижу над головой звезды, сверкающие в графитно-черном небе. Тьму прорезают вымпелы дыма от парохода. Вот и палуба. Я вижу воду. На ней пляшут огни «Джурмы».

И вдруг я сбиваюсь с пути. Я знаю, что уборная где-то рядом, но не понимаю, как дойти до нее.

Такое уже было со мной однажды в Ярославле после нижнего карцера. Это очень страшно. Человек, не знающий, куда ему идти, это уже не человек. Ощупываю стены, как слепая. Мне кажется, что дым от парохода застилает мне глаза. Я уже почти ничего не вижу. Но ведь здесь умирать никак нельзя. Среди моря. Бросят за борт, акулам, даже без мешка. Господи, ну подожди до Магадана! Пожалуйста, Господи, молю Тебя... Я хочу лежать в земле, а не в воде. Я — человек. А Ты ведь Сам сказал: «Из земли взят и в землю...»

(Недавно, уже в шестьдесят четвертом, я прочла в рассказе Сент Экзюпери такие слова: «То, что я выдержал, клянусь, не выдержало бы ни одно животное». Это говорил летчик, заблудившийся во время бури на чилийских склонах Анд).

Потом я высчитала, что это было на шестой день морского этапа. Подобрал меня всё тот же Кривицкий, проснувшийся и заметивший мое отсутствие. Но об этом я узнала много позднее, так

как в сознание пришла только через двое суток, в тот день, когда «Джурма» завопила радостным голосом, увида из-за гряды сопок очертания уже близкой бухты Нагаево.

Доходяг выносили по очереди на носилках. Их выносили и складывали на берег аккуратными штабелями, чтобы конвой мог отчитаться, чтобы не было путаницы с актами о смерти. Мы лежали прямо на прибрежных камнях и смотрели вслед нашему этапу, удаляющемуся по направлению к городу, навстречу пыткам коллективной бани и дезокамеры.

Так мы лежали до глубокой ночи, и оставшиеся с нами конвоиры уже крыли недобрными словами начальников, по-видимому, забывших о брошенных доходягах. Потом оказалось, что не было машин. В этот день ушло несколько больших этапов в тайгу, и машины были угнаны.

Стоял август. Но Охотское море всё равно отливало безжалостным свинцовым блеском. Я всё старалась повернуть голову так, чтобы увидеть свободный кусок горизонта. Но это не удавалось. Лиловые сопки выселись кругом, как тюремные стены. Я еще не знала, что это особенность Колымы. За все годы жизни на ней мне ни разу не удалось прорваться взглядом к свободному горизонту.

Конвоиры, продрогшие и изозлившиеся, развели костер. Над костром клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым заревом огня.

— Вы видели когда-нибудь на карте этот географический пункт? — спросила вдруг обычным будничным голосом лежавшая рядом со мной коминтерновская немка Мария Цехер.

Нет, я не видела его на карте, этот пункт. Я вообще была раньше чудовищно безграмотна. Я не знала ни карты Колымы, ни фокстрота про Кэтти, танцующую в шумном, большом ресторане. Я не знала, что людей можно выбрасывать акулам прямо так, без мешков... Теперь я всё это знаю.

На небе забрезжили удивительные оттенки лилового и сиреневого. Близился мой первый колымский рассвет. Я вдруг почувствовала странную легкость и примиренность с судьбой. Да, это чужая и жестокая земля. Ни моя мать, ни мои сыновья не найдут дорогу к моей могиле. Но всё-таки это земля. Я добралась до нее, и мне больше не угрожают кишащие акулами свинцовые воды Великого или Тихого океана.

## 5. «ВАМ СЕГОДНЯ НЕ ПОВЕЗЛО, ДОРОГАЯ МАДАМ СМЕРТЬ...»

Нет, это не сон, — я действительно сижу в ванне. Я дотрагиваюсь до ее ослепительной белой скользкой внутренности. Какое изобретение человеческого гения! От горячей воды идет пьянящий запах соснового бора. Потому что мне назначена врачом не простая ванна, а хвойная. Да, насчет ванны сомнений нет, — она подлинная. Только вот мне ли принадлежит это костлявое тело, проплывающее сквозь воду?

Уже две недели я нахожусь в стране чудес, именуемой магаданской лагерной больницей. Меня и других наших здесь лечат, кормят, спасают. И это после того, как я окончательно привыкла к мысли, что все люди, с которыми я сталкиваюсь за последние три года, если только они не заключенные, хотят одного: мучить и убивать.

Первые дни, проведенные здесь, слились в сплошной клубок беспамятства, боли, провалов в черноту небытия. Но в какой-то день, открыв глаза, я увидела над собой склоненное лицо ангела. Да, это был самый настоящий рафаэлевский ангел, сидящий на облаках у подножия Сикстинской Мадонны. Только белокурые волосы ангела были тронуты завивкой перманент, а нежный подбородок уже начал чуть-чуть, самую малость тяжелеть, обличая кончающийся четвертый десяток. Звали ангела подходяще — Ангелиной Васильевной. Доктор Клименко, Ангелина Васильевна, супруга следователя НКВД, ведала женским отделением магаданской больницы заключенных.

— Вот вы и пришли в себя, — зазвенел небесными флейтами голос ангела. — Теперь надо только побольше кушать... Не обращая внимания на понос...

Призыв «побольше кушать» в наших условиях мог прозвучать как самое изощренное издевательство, если бы ангел одновременно не положил на тумбочку около моей койки довольно увесистый сверток.

— Это всё вам можно, не сомневайтесь, — говорил ангел, отходя к соседним больным.

Я не сомневалась. Я рвала зубами вареную курицу, принесенную ангелом, точно так же алчно, как, наверно, мой прапацур в сумраке неандертальской ночи свежевал какого-нибудь бизона.

— Что вы делаете? Разве можно есть мясо при таком поносе? — шептала Софья Петровна Межлаук, оказавшаяся и здесь

моей соседкой. Сама она считала, что только голодная диета — единственное средство при нашем изнурительном поносе.

А я поверила ангелу, сказавшему мне: «Понос цинготный. Есть надо всё». А еще больше поверила голосу своего измученного, но в основе своей неистребимо здорового и молодого тела. А оно орало, вопило, требовало — еды!!

Что заставило доктора Клименко не только больше месяца держать меня в больнице, давая отлежаться после этапов, но еще и приносить мне почти ежедневно из дома высококалорийные продукты? — Не знаю. Может быть, ее как врача увлек процесс воскрешения полумертвый? Ведь потом она несколько раз говорила мне:

— Когда пришел ваш этап с «Джурмы», то из всех смертников самой безнадежной были вы. Я никогда не думала, что Цехер, Межлаук, Антонова умрут, а вы останетесь живы...

Да, возможно, врачом руководил профессиональный интерес. Но этим всё не исчерпывалось. Вокруг ангела-врача ходили странные слухи. Говорили, что десяткам людей она спасала жизнь, то удерживая подольше в больнице, то не пуская на тяжелые работы, то выписывая дополнительное питание. Ощущала я и ее персональную симпатию к себе лично.

Так или иначе, но всё шло почти по Диккенсу. Среди злодеев жил ангел, и этот ангел спасал меня от смерти. Но иногда в глубине безмятежных голубых глаз врачихи пробегала какая-то темная тень страдания. И тогда казалось, что дело тут не столько в Диккенсе, сколько в Достоевском, и что таким поведением Ангелина, наверно, старается искупить деятельность своего мужа, которого она любит.

Шли дни. Скоро умерла Софья Петровна. Просто от голода. Никак не соглашалась послушать доктора и есть всё, что дают.

— Что вы! — не теряя апломба высокопоставленной дамы даже на смертном ложе, говорила она. — Что вы, доктор? Я лежилась в Осло у профессора Икс, в Париже — у Игрека, и я знаю, что только диета может меня спасти.

Ангелина с поистине ангельским терпением втолковывала ей, что Колыма порождает своеобразные болезни, отличные от тех, какими болеют в Осло и Париже. Но Софья Петровна только снисходительно улыбалась.

Умерла она спокойно. Не проснулась с ночи. Потом умерла Мария Цехер. Перед смертью она вдруг забыла все русские слова, каких и раньше-то знала не густо. Но теперь она не могла даже

вспомнить, как будет «вода». Я к этому времени уже стала вставать с койки, а так как в палате другие не понимали Марию, то мне пришлось принять ее последний вздох.

Кончина ее была настолько «литературной», что критика, несомненно, обвинила бы автора, описавшего такую смерть, в нарочитости. Однако всё было именно так. Мария лежала совсем бесплотная, почти не возвышающаяся над уровнем койки. Лицо ее и вообще-то острое, типично «арийское», стало теперь колючим. Нос, подбородок, контуры синих губ были выписаны готическим шрифтом. Но на этом призрачном лице жили огромные карие глаза, горячие, полные мысли и страдания. Мария до последнего вздоха жила активной душевной жизнью. Умирающего солдата тельмановской армии волновали вопросы коммунистического движения.

— Смогу ли я теперь читать по-русски? Как ты думаешь, почему я вдруг забыла все русские слова?

— Наверно, плохое кровоснабжение мозга. Потом вспомнишь...

За несколько минут до смерти она начала читать наизусть какие-то антифашистские стихи, кажется, Эриха Вайнерта. Помню, что там повторялся рефрен «Дер марксизмус ист нихт тот». Она произнесла эти слова, потом дотронулась до моей руки своими ледяными костяшками и сказала: «Абер вир зинд тот». И умерла.

Умирали ежедневно: и из нашего, и из других — новых и старых — этапов. Но это не могло затмить мощного чувства возрождения к жизни, которое охватило всех нас, выздоравливающих. Жить во что бы то ни стало... И каждый день приносил теперь какую-нибудь новую радость. То совсем прошел понос. То прибавка в весе на два килограмма сразу. То румянец на щеках появился и еще больше вырос аппетит. Оказалось, что здесь можно и подработать на дополнительное питание.

— Вышивать умеешь? — таинственно спрашивает меня «Сонька-айсорка», санитарка из бытовичек.

— Конечно, — уверенно отвечаю я, вызвав из тьмы времен вид крестиков на канве и уроки рукоделия в приготовительном классе гимназии.

— Вот этот узор сделай на подушку. И будет тебе за это от меня сахар-масло-белый хлеб...

На узоре был букет царственных роз, вокруг которого вилась разноцветная надпись: «Спи спокойно, Гриша, Соня тебя любит».

Теперь мои больничные дни были заполнены творческим трудом. Розы получались здорово. Сонька была довольна и ежедневно подкладывала мне на тумбочку что-нибудь съестное. На вопросы, откуда всё это у нее берется, Сонька хохотала с присвистом.

— Ох, и дураки же эти контрики! Лежи, знай, припухай, кантуйся.

Но очевидно всё-таки у Гриши не было достаточных оснований для вполне спокойного сна, потому что в один прекрасный день Сонька предложила мне распороть его имя над розами.

— Сделай тут вместо «Гриша» — «Васёк», поняла? — говорила Сонька, сверкая своими ассирийскими глазами и кладя мне на тумбочку кусок краковской колбасы.

Так, в связи с причудами Сонькиного сердца, я оказалась еще на два дня обеспечена работой.

Блатняки, лежавшие рядом с нами в больнице, были здесь в меньшинстве и вели себя куда спокойнее, чем на «Джурме». Обстановка располагала к лирическим раздумьям, и они рассказывали по вечерам историю своих жизней, варьируя папу-прокурора и папу-генерала, сочиняя необыкновенные любовные и воровские приключения, в которых, впрочем, проявлялась довольно убогая фантазия. От нас они всё время требовали пересказа «какого-нибудь романа» или чтения стихов Есенина.

К одной из девок, наглой и красивой Тамарке, приходилтайком на свидание настоящий, живой Остап Бендер. Однажды я случайно оказалась в коридоре во время его посещения.

— Чего матюкаешься, — ласково сказала Тамарка. — Не видишь, что ли, женщина стоит рядом, шибко грамотная, пятьдесят восьмая?

— Извиняюсь, мадам, — сказал Остап Бендер с одесским акцентом, показывая в улыбке массу золотых зубов, — извиняюсь. Ученых я сильно уважаю. По натуре я сам — член-корреспондент Академии Наук. Только здесь не приходится работать по специальности.

— А какая у вас специальность?

— Я по несгораемым шкафам. Высокая квалификация. Может, слыхали? По-нашему — медвежатник...

— Кто ж его не знал в Ленинграде, — с гордостью добавила Тамарка.

...Ангелина назначила мне курс мышьяковых инъекций, и я поправляюсь, как на дрожжах.

— Телец на заклание, — желчно шутила Лиза Шевелева, на воле личный секретарь Стасовой, — кому только нужна эта поправка? Выйдете отсюда — сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот же труп, что были на «Джурме»... Грош цена этой Ангелининой благотворительности. Одни ложные надежды...

— А у нас, у блатных, знаете, какая поговорка? — вмешалась Тамарка. — Умри ты сегодня, а я — завтра!

— Истина посередине, — примирительно подытожила остроумная Люся Оганджян, — не надо каннибалского «ты сегодня», но не надо и мрачного пессимизма Лизы. Знаете, есть у Сельвинского такие стихи — про жулика, между прочим, — «Вам сегодня не повезло, дорогая мадам Смерть! Адьюс, до следующего раза!» А в следующий раз, может быть, опять вмешается Господин Великий Случай. Так что мы всё-таки выиграли отсрочку. А это уже немало...

Первое ощущение при возвращении в женскую зону лагеря, так называемый *женолл*, при входе в восьмой тюрзаковский барак, — это ощущение стыда. Мне было стыдно смотреть на синие лица, обмороженные носы, щеки, пальцы, на голодные глаза моих товарищих, вернувшихся этим поздним ноябрьским вечером с общих работ. Я так отличаюсь сегодня, после двух больничных месяцев, от них, от лагерных «работяг». Я стала круглой, упитанной, свежей. Точно предательство какое совершила.

После больницы, с ее отдельными койками, чистыми полами, проветренными помещениями, наш восьмой, тюрзаковский барак кажется настоящим логовом зверя. Он весь искривленный, покосившийся, с двойными сплошными нарами, промерзшими углами, с огромной железной печкой посередине. Вокруг печки, поднимая вонючие испарения, всегда сущатся бушлаты, чуни, портняки.

— С курорта? — ехидно бросила мне Надя Федорович, стажированная оппозиционерка, репрессированная с тридцать третьего и глубоко презиравшая «набор тридцать седьмого».

Общие работы, на которые я попадаю со следующего утра, называются благозвучным словом «мелиорация». Мы выходим из зоны с первым разводом в полной ночной тьме. Идем километров пять строем по пяти в ряд, под крики конвоиров и ругань штрафных блатнячек, попавших в наказание за какие-нибудь проделки в нашу бригаду тюрзаков. Пройдя это расстояние, попадаем на открытое всем ветрам поле, где бригадир — блатарь Сенька, хищ-

ный и мерзкий тип, открыто предлагающий ватные брюки первого сорта за «час без горя», — выдает нам кайла и железные лопаты. Потом мы до часу дня тюкаем этими кайлами вечную мерзлоту колымской земли.

Совершенно не помню, а может быть, никогда и не знала, какая разумная цель стояла за этой «мелиорацией». Помню только огненный ветер на сорокаградусном морозе, чудовищный вес кайла и бешеные удары сбивающегося с ритма сердца. В час дня — в зону на обед. Опять вязкий шаг по сугробам, опять крики и угрозы конвоиров за то, что сбиваемся с такта. В зоне нас ждет вожделенный кусок хлеба и баланда, а потом получасовой «отдых», во время которого мы толпимся у железной печки, пытаясь набрать у нее столько тепла, чтобы хватило хоть на полдороги. И снова кайло и лопата, теперь уже до позднего вечера. Затем «замер» обработанной земли и чудовищная брань Сеньки-бригадира. Как тут наряды закрывать, когда эти Мары Иванны даже тридцати процентов нормы не могут схватить! И наконец — ночь, полная кошмаров и мучительного ожидания удара рельсы на подъем.

Это — зима тридцать девятого-сорокового. Кто-то из наших раздобыл где-то старый, но не очень, номер «Правды». Вечером перед отбоем в бараке — сенсация. В «Правде» напечатан полный текст очередной речи Гитлера. И с весьма уважительными комментариями. А на первой полосе — фото: прием В. М. Молотовым Иоахима фон Риббентропа.

— Чудесный семейный портрет, — бросает Катя Ротмистровская, залезая на вторые нары.

Катя неосторожна. Ей уже много раз говорили, что, к несчастью, среди нас появились люди, чересчур внимательно прислушивающиеся, о чем говорят в бараке по вечерам.

Пройдет полгода, и эта неосторожность будет искуплена Катей ценой собственной жизни. Катю расстреляли за «антисоветскую агитацию» в бараке.

...Через десять дней «мелиорации» трофическая язва у меня на ноге снова раскрылась. Я с удивительной быстротой снова превратилась в «доходягу». Теперь я уже ничем не отличаюсь от тюрзаковской толпы, и причин для укоров совести больше нет. Зря старалась Ангелина.

По воскресеньям мы не работаем. Стираем, чиним свою рвань. Ходим в гости по другим баракам, где живут люди с бо-

лее мелкими статьями и меньшими сроками. Не тюрзаки. В тех бараках — запах человеческого жилья от жарящейся на печках рыбёшки, раздобытой за зоной. Там некоторые места на нарах застелены домашними клетчатыми одеяльцами, а подушки покрыты марлевыми накидушками, вышитыми мережкой. Обитательницы этих бараков в большинстве работают в помещении — в прачечных, банях, больницах. У них нормальный цвет кожи и на лицах выражение интереса к жизни.

Я познакомилась с жительницами седьмого барака. Захожу туда по воскресеньям. Там живут участницы лагерной самодеятельности. Певица Венгерова поет соло. Бывшие балерины снимают бушлаты и чуни и надевают пачки, чтобы продемонстрировать первому ряду — начальству — свое искусство. Есть и хор. В одно из воскресений я попадаю на такой концерт. Слушаю, как три десятка женщин, разлученных со своими детьми, ничего не знающих о судьбе своих сирот, лирически поют, сложив руки так, точно покачиваю ребенка:

Спи, моя радость, спи, моя дочь...  
Мы победили сумрак и ночь....  
Враг не отнимет радость твою,  
баюшки-баю, баю-баю...

Начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) похвалил их за слаженность хора.

Посреди седьмого барака, на топчане у печки, живет восьми-девяностолетняя зека, «обломок империи», княгиня Урусова. После концерта она говорит:

— Когда древние иудеи попали в плenение вавилонское, им приказали играть на арфах. Но они повесили арфы свои на стены и сказали: «Работать будем, но играть — никогда».

Она трясет своей почти облысевшей головой и добавляет: — КВЧ на них не было... Да и люди были не те...

В седьмом бараке я слышала разные новости, так называемые лагерные «параши», т. е. непроверенные слухи. В восьмом, тюзаковском, было не до новостей.

— Скоро большой этап в тайгу будет... В Эльген... Совхоз. Штрафная командировка...

— На днях прибудет большой этап жен из Томска. У кого статья «член семьи», до сих пор сидели, не работая, как в тюрьме. Сейчас работать будут.

— Наверно, тюрзак в тайгу...

Всё время надо было помнить, что как бы ни тяжел был сегодняшний день, а завтра надо ждать худшего. Каждый вечер, ложась спать, надо было благодарить судьбу за то, что сегодня ты еще жива.

«Вам сегодня не повезло, дорогая мадам Смерть...»

## 6. НА ЛЕГКИХ РАБОТАХ

Когда в магаданский *женолл* пришел этап жен, казанская землячка врач Мария Нимцевицкая, потрясенная моей цветущей цингой и полным моим пауперизмом, подарила мне хорошенькую вязаную кофточку, уцелевшую в её узле, благодаря спасительной медицинской профессии.

Мы сидели на нижних нарах в тюрзаковском бараке, засыпая друг друга фамилиями знакомых и друзей. Фамилии перемежались стандартными возгласами: расстреляли... десять лет... пропал без вести...

В промежутках врачиха со слезами гладила меня по волосам, а я, как зачарованная, перебирала дарёную кофточку. Ее яркие пуговки и цветные разводы гипнотизировали меня.

— Я очень похудела. Она будет мне велика, — говорила я, совершенно не думая о том, как «впишется» эта кофточка в мой общий ансамбль: тряпичные, перевязанные веревочками чуни на ногах, серая с коричневой полосой тюремная ярославская юбка, обшарпанная заплатанная телогрейка.

Легкий шорох и тяжкие возгласы заключенных возвестили появление в бараке старшей нарядчицы Верки. Цепкий Веркин взгляд моментально фиксировал кофточку в моих руках.

— Конечно, велика тебе! Да куда тебе и надевать-то такую? На кайловку, что ли?

Веркины многоопытные руки смяли тонкую шерсть. Шерсть расправилась.

— Натуральная. Дай померить...

— Конечно, конечно, Верочка, пожалуйста, померьте, — из всех сил сжимая мою руку, повторяла хозяйка кофты, врачиха Мария, отлично знакомая с могуществом старшего нарядчика.

Верка небрежным жестом засунула кофточку под свой пуховый платок.

— Не жалейте, Женечка, — возбужденно уговаривала Мария,

— эта кофточка вам, может быть, жизнь спасет. Конечно, есть среди нарядчиков такие, что берут, да не делают, но про эту Верку я слышала, что она за каждую вещь посыпает на легкую работу хоть на две недели. А вам сейчас, после больницы, да и в таком состоянии, так важно не ходить на эту проклятую кайловку. Да и морозы, может быть, спадут за это время.

Прогноз доктора Марии оправдался уже на следующем утреннем разводе. Как всегда, мы стояли совсем окоченевшие, по пятеркам, ожидая вызова. Было пять часов утра. Ничто в темном небе и густом слоистом воздухе не предвещало близкого рассвета. Торопливо выравнивая шаг, я двинулась со своей пятеркой к воротам и вдруг поймала на себе внимательный взгляд Верки-нарядчицы. Она стояла со списком в руках в своем ладном дубленом полушубочке и пуховом платке, окруженная целым выводком вохровцев.

— Давай, давай! — выкрикивала она через каждые две-три секунды, в промежутках между кокетливыми улыбками, адресованными вохровцам.

Впрочем, иногда Верка останавливалась очередную пятерку и «оставляла» из неё какую-нибудь бесполую фигуру, укутанную в тряпки.

— Налево! В сторону! — выкрикивала при этом Верка, и у всех замирали сердца.

Потому что такая «отставка» могла быть и к несчастью, и к добру. Могли отставить для очередного этапа в тайгу, по сравнению с которым кайловка и магаданский женолп казались раем. Но могли отставить и для посылки на вожделенную работу «в помещении», где хоть на несколько дней отойдут распухшие ноги, где встретишь «вольняшек», а с ними и возможности нелегальной отправки писем и «левых» заработков пайки хлеба, а то и миски супа.

— Отставить! Налево! — сказала Верка, когда я ковыляла мимо нее в своих чунях. Так, дареная казанская кофточка оказалась для меня в этот момент Гриневским заячьим тулупчиком.

Я просто ушам не поверила, когда уже на исходе развода утомленная Верка небрежно бросила мне:

— В гостиницу пойдешь... Бригадир — Анька Полозова.

Вольная гостиница. Это то самое сказочное место, куда посыпают только бытовичек, куда нам, контрикам, доступ закрыт. Это та самая счастливая Аркадия, где, закончив мытье полов, заключенные уборщицы могли брать у постояльцев заказ на част-

ную стирку и получать за это большие куски хлеба и даже сахара.

Поистине, Верка-нарядчица была глубоко принципиальной взяточницей. Взяв что-либо, она честно расплачивалась. Не в пример многим другим.

Магаданская гостиница 1940 года помещалась в большом сером бараке. Только в двух комнатах жили семейные: какие-то начальники из средних, квартиры которых еще только строились. Всё остальное население гостиницы — это были заключенные первых наборов: проспиртованные экспедиторы с приисков, урки, промышляющие в Магадане в промежутках между отбытым и еще не полученным новым сроком, и даже отдельные ловкачи, что смогли, находясь «во льдах», сфабриковать неплохие документы.

Комнаты были переполнены. Коридоры тоже. В коридорах почти вповалку, по два на каждой железной койке, а местами и на матрацах, брошенных прямо на пол, жили хорошие «материковские» люди. Это были по большей части геологи, отсидевшие с 37-го года в гаранции по два-три года в доме Васькова, а теперь, после «либеральной весны» 1939 года, вынесенные на волю. Здесь, в гостинице, ждали они весны, начала навигации, возвращения на Большую землю.

— Девки! До трех — казенная уборка. С трех — ваше дело... До отбоя... Только не гореть, поняли? Погорите — сами за себя отвечаете, я ничего не знаю, — сказала бригадирша Анька Полозова, обращаясь к своей бригаде, состоявшей из пяти отборных блатнячек и меня.

Сама Анька имела солидную удобную статью — СВЭ. Социально-вредный элемент. Пограничная между политиками и блатарями. С такой статьей можно было по праву занимать выдающийся пост бригадира уборщиц гостиницы.

— Ну, я иду наряды заполнять, — добавила Анька.

— Заполняй давай! — хрюкло буркнула Маруська-Красючка.  
— И то сказать — заждался! Ишь, буркалы-то выкатил... Ошалел, ждавши...

Действительно, завхоз гостиницы, мощный кавказец, обладатель точеного подбородка и очень выпуклых глаз, с которым Анька уже целый месяц «заполняла наряды», ждал её в дверях своей комнаты.

— Сейчас, Ашотик, иду, лапонька, — неожиданно нежно обратилась Анька к завхозу. — Да вот еще, девки! Тут сегодня новенькая, пятьдесят восьмая... Отощала здорово... Тюрзак, одно

слово. Так вы того, не шакальте с ней... Покажите, что и как. Тебя как? Женей? Ну и ладно. Иди вон с Маруськой-Красючкой. Введи ее в курс дела, Мария. Есть? А то у меня наряды незаполненные. Иду, Ашотик, деточка.

— Тà еще деточка! — буркнула опять Маруська-Красючка, поводя мечтательными синими глазами. — Его легче похоронить, чем накормить. Как удав жрет... Исполу их обрабатываем...

К вечеру я увидела, как, подчиняясь неписанным законам, привилегированная бригада тащит оброк — половину доходов от своих отхожих промыслов на прокормление удава Ашотика и его нежной подруги Аньки Полозовой.

Работа состояла в мытье некрашеных затоптанных полов. С тряпкой и ведром я встала в очередь к титану, где заключенный старик кубогрей бережно наливал каждой из нас полведра кипятка. Остальное полагалось добавлять снегом.

Старик несколько раз окинул меня косым взглядом из-под лохматых бровей и сразу определил статью и срок.

— Тюрзак, поди? Та-а-ак... Чуни-то надо снять. Раскиснут от воды. Эй, веселые, дали бы человеку какую обувку для работы. Есть ведь у вас, знаю...

— Дадим, не журысь, дед! Эй, Женька, снимай кандалы-то свои. Нà вот тебе калошки подходящие, — доброжелательно сказала татуированная с ног до головы Эльвирка, сбрасывая с себя мужские стоптанные калоши, в которых она пришаркала в кубовую.

— Спасибо, Эльвира! А как же вы сами?

— Ой, братцы, лопну! На вы она меня! Как ваше здоровье, Марья Ивановна? Приходите ко мне на вторы нары после отбоя... Кипяточку попьем, поговорим за книжечки... Чудные эти контрики... За меня не журысь! Сниму с любого фраера в номере, босая не буду, — говорила Эльвирка, обезьяньими движениями почесывая правую ступню, на которой красовался лозунг «Не забудь мать-старушку».

Кубогрей остановил меня при выходе. Я шла последней.

— Давайте познакомимся. Вижу, что политическая. Как это вас сюда прислали? Видно, по здоровью, актированы, что ли? Я ведь тоже антисоветский агитатор. Пятьдесят восемь, десять. Сам ленинградец, с Кировского. Посадили меня на эту блатную работенку, поскольку актирован. Внутренность расходится. Оперирован был в Гражданскую. А после трассы да золотишко швы-то и

разошлись внутри. Вот и пожалели, посадили тут, в тепло. Ну да ведь и годков-то мне шестьдесят с гаком. Да не во мне суть. Хочу вас предупредить, девушка вы молодая, а место тут злачное.

— Понимаю. Мне уже за тридцать. Это я от истощения так помолодела, что девушкой кажусь.

— Всё равно — молодая еще. Да и не здешнего сорта. Вижу я людей. Так вот, в номера ни к кому не заходите. Ни ногой. Ашотки особенно опасайтесь. А если что заработать надо, так у женщин. Две семьи здесь живут. Как с полами управитесь, приходите ко мне. Я вас сам к Солодихе сведу. Вчера спрашивала девушку для стирки. Жадна, правда, чертовка, да ведь уж всё накормит. Ну, еще тех можете обслуживать, которые в коридоре. Это наши, реабилитированные. Сами, правда, с хлеба на квас, из колеи выбиты, по два да по три года отсидели... Но эти последний кусок пополам разделят. В стирке тоже сильно нуждаются...

Блатнячки закончили казенную работу на два часа раньше меня. Все в длинных шароварах и с низко надвинутыми на глаза платочками, завязанными особым блатным узлом, в платьях фантастических расцветок и фасонов, они носились теперь по зданию, наполняя его визгом, хохотом и матерщиной.

Впрочем, это была не ругань. Настроение у девок было мирное и даже приятное. Просто любую свою мысль они выражали именно этими тремя-четырьмя похабными глаголами и производными от них грамматическими формами.

— Амёбы! — почти ласково сказал кубогрей, наливая мне очередную порцию кипятка. — Кроме этих слов ничего не знают. Право, одноклеточные. А ведь есть и невредные девахи среди них. Если бы, конечно, за них с малолетства взяться. Да, жили мы на материке и не знали, сколько у нас в стране такой швали.

Мыть пол было не очень трудно, хотя от голода и согнутого положения кружилась голова. Особенно легко становилось, когда вспоминались общие работы, например, мелиорация: пудовое железное кайло, безнадежно тыкающее насмерть окаменелую землю, и яростные ожоги от мороза, врывающегося под вытертую телогрейку. А это действительно легкая, блатная работа. Под крышей, в тепле. Да еще вода горячая нежит распухшие руки. Тем не менее, до слез обидно, что шмыгающие по коридорам постояльцы оставляли грязные следы на только что вымытом куске.

— Эй ты, Марья Ивановна! Обалдела, что ли? — Переодетая в малиновый халатик с цветами и густо намалеванная Эльвирка с неподдельным изумлением взирала на мою работу. — Глянь-ка,

девки, на малохольную! Как скоблит, а! Да ты что, к свекрови приехала, что ли? Да хошь показать, какая ты сама из себя работающая?

— А ты не ори, а покажи человеку, как делают! Тюрзак ведь она... А из тюрзака, известно, кровь вся выпитая...

Маруська-Красючка говорила баском пропойцы, но синие глаза ее по-прежнему удивляли мечтательным выражением.

— Вот чего, Женька, слушай сюда, — она потянула меня за рукав. — Первое дело: черного кобеля не отмоешь добела — это раз! Второе — тебе еще надо на себя зарабатывать, а ты все на начальника вкалываешь. Это два. А третье — посмотри, вот как надо...

Маруська ловким движением выплеснула всю воду на пол и быстрыми широкими мазками растерла её по грязному полу.

— Было бы скоро, чтобы Ашотка видел, что мыто. Айда в кубовую чай пить! На мою пайку! Мне фраер белого дал.

Неописуемое райское блаженство — сидеть у теплого титана, тянуть из стакановской кружки почти крутой кипяток, откусывая время от времени от кусочка сахара и отщипывая от Маруськиной пайки.

...Солодиха оказалась весьма импульсивной дамой.

— Вот эту? Да она на ногах-то еле держится... Доходяга натуральная. Где ей такую кучу перестирать! У меня месяц не стирало.

— Любого не кормить да держать на кайловке — так отошлет, — эпически заметил старик. — Смирна зато. Да и возьмет недорого.

Я почти любовно перебирала Солодовское белье, сортируя его на кучки. Момент этот представлялся мне переломным и торжественным на моем тюремно-лагерном пути. Во-первых, предстояло впервые за три года самостоятельно и по собственной инициативе заработать себе на хлеб. Во-вторых, привлекал разумный характер предстоящей работы. Это было совсем неплохой целью — переодеть в чистое этих замурзанных ребят, копошащихся в углу номера, заваленного немытой посудой и неприбранным бараклом.

— А ты не заразная какая? — поинтересовалась Солодиха, критически осматривая меня. — Уж больно худа...

— Нет. Цинга не заразная. От голода это...

— Ладно! Схожу вот сейчас в магазин, потом обедать будем.

Перед уходом в магазин Солодиха долго шептала что-то сво-

ему старшему — десятилетнему мальчишке, время от времени вскидывая на меня глаза. Вскоре после ухода матери мальчишка улизнул в коридор, на ходу бросив шестилетней сестренке:

— Сама смотри, чтобы она чего не сперла. Мне надоело уж...

Недаром Юля, моя ярославская сокамерница, шутила, что от ста граммов полноценной пищи я сразу толстею на килограмм. Уже через неделю работы в гостинице я становлюсь неузнаваемой.

— Ишь как быстро на моих хлебах мяском-то обросла, — почти доброжелательно говорит Солодиха, подбавляя мне густо просаленное каши. За неделю я ликвидировала все самые непрходимые залежи в углах её жилья, и она оценила это, особенно убедившись, что всё добро на месте.

— А ты, оказывается, ничего из себя. Глазастенькая... Недолго, поди, у меня в уборщиках засидишься. Бабы в Магадане — товар дефицитный. А тут в гостинице шакалье так и рыщет.

Пытаюсь элементарно втолковать Солодихе, что я — «честная».

— Ну что ж, это хорошо, — одобряет она, — тогда вот подкрепись еще маленько, и мы тебе самостоятельного мужика подыщем. Тут ведь даже экспедиторы с приисков бывают. Масло-сахар-белый хлеб! Да и деньгами даст...

По вечерам, возвращаясь в восьмой, тюрзаковский барак женолпа, я в лицах изображаю нашим гостиничным персонажи. Все наши хохочут, и я сама только в плане чистой юмористики воспринимаю заботы Солодихи о том, как бы повыгоднее продать меня самостоятельному экспедитору.

Но однажды, во время мытья полов в коридоре (я обрабатываю их теперь быстренько, по Маруськиной методе, чтобы больше оставалось времени на Солодиху), я вдруг чувствую увесистый шлепок пониже спины. Чей-то осипший, настоенный на спирту и цифире голос хрипит:

— Пойдем... Полюбимся... Сотнягу даю!

До сих пор с вопросом проституции мне приходилось сталкиваться или как с социальной проблемой (в связи с ростом безработицы в США) или как с художественным образом (Алиса Коонен под качающимся на авансцене тусклым фонарем). Даже в самых кошмарных видениях бутырских и ярославских ночей не могли мне присниться такие слова и жесты, адресованные мне... Мне!

Аффект настолько силен, что я сразу забываю подобные инструкции старика-кубогрея о том, как вести себя в подобных случаях («Прямо тряпкой по морде и шли его подальше на его же языке!»). Вместо этого откуда-то из глубин подсознания вырывается:

— Негодяй! Как вы смеете!

Прихваченные морозом, коричневые, облупленные щеки моего покупателя расплываются в улыбке. Он сдвигает шапку на бок.

— Ишь ты! Глазки! Красючка... 58-ая, что ли? Айда, двести даю...

Синие от мороза, со скрюченными пальцами лапы снова тянутся ко мне.

— Отойдите! — кричу я, хватаясь за ведро. — Оболью...

И вдруг чья-то рука (кожаный рукав) поднимает моего питекантропа за шкирку, как котенка, и от сильного удара чьей-то ноги (добротные валенки) он летит в дальний угол коридора, наполняя воздух россыпями огборного мата.

Защитивший меня человек был Рудольф Круминьш, один из реабилитированных коридорных жильцов, только что вышедших после двухлетней отсидки из дома Васькова.

С этого эпизода завязалась моя дружба с коридорными жильцами, ждущими первого корабля для отправки на материк. Я начала торопиться и у Солодихи, чтобы успеть до отправки в лагерь побывать хоть часок в этом секторе коридора. Наскоро простирануть ребятам бельишко. Пришить пуговицы. Перемыть кружки и миски.

Оазис в пустыне. Человеческие лица. Разговор о сокровенном, волнующем нас всех. Полное доверие. Никто из них не боится рискнуть отправкой «через волю» моей корреспонденции.

— Женя, да не пришивайте вы так крепко пуговицы к этому кожаному пальто, — говорит смешливый чернявый геолог Цехановский, которого так избивали во время следствия, что остался не проходящий кашель, — право, не старайтесь, всё равно он их каждый вечер ножичком обрезает.

Это про кожаное пальто моего защитника Рудольфа Круминьша. Его взяли временно до весны работать в управлении, и он одет совсем добротно, не в пример другим.

Милый Рудольф! А я-то думала, почему пуговицы так рвутся? Это для того, чтобы под предлогом благодарности за труд совать мне в карман конфеты и кусок сахара...

Энергичное белое лицо Рудольфа краснеет.

— Ты есть один большой звенья! — ворчит он на Цехановского.

Теперь я без привычного чувства острой тоски вскакивала утром со своих нар. Я даже с нетерпением ждала развода, испытывая каждый раз облегчение, когда ворота лагеря оставались позади. Не отставая от Эльвиры и Маруськи-Красючки, неслась я по улицам предрассветного, подернутого сизым туманом, окоченевшего Магадана, стремясь поскорее добраться до своей гостиницы. Ведь в этом ковчеге, где наливались спиртом, крали, блудили и сквернословили урки, экспедиторы, девки и мелкие колымские «начальники», меня ждали добрые взгляды товарищей, которым повезло вырваться из пасти терзающего меня дракона. Благодаря их бескорыстным заботам, я была теперь не только бескорыстно сыта, но и согрета душой.

Я гнала от себя подспудную мысль о возможном скромом конце этого лагерного счастья. И настоящим ударом для меня явился тот колкий декабрьский рассвет, когда, проходя в своей пятерке мимо выводка вохровцев, я услышала обращенный к себе возглас Верки-нарядчицы.

— Отставить! Налево!

Всё.

Всё. Ну, и то сказать: месяц работы в гостинице — неплохая цена за шерстяную кофточку с яркими пуговками.

— Пока в барак! Завтра на общие пойдешь...

До самого вечера я неподвижно лежала в пустом бараке. Осткая сверлящая боль в сердце относилась не столько даже к мысли о ржавом кайле и удущливой стуже «общих». Страшнее была мысль, что я не увижу больше моих новых друзей — реабилитированных из гостиничного коридора, не услышу прерываемых кашлем шуток Цехановского, не буду больше пришивать аккуратно отрезанные перочинным ножиком пуговицы с кожаного пальто Рудольфа.

Вечером, перед самым возвращением наших тюрзаков, дверь барака открылась, и в клубах белого плотного воздуха, ворвавшегося в барак, я сразу различила франтоватые фетровые валеночки бригадирши уборщиц Аньки Полозовой.

— Т-ш-ш... — заговорщически оглядываясь, сказала Анька.

— Само главное — не тушуйся. Они тебя не бросили, фраера-то твои... Перво дело — вот тебе передача от того, что в кожаном.

Всё честь по чести — сахар-масло-белый хлеб... Потом деньги, держи... Это главное — вот...

Анька вытащила из кармана своей новенькой кокетливой телогрейки кучу смятых бумажек.

— Верке-нарядчице... Чтоб не на общие тебя... В гостиницу-то, конечно, обратно не попадешь. Ей нагоняй от УРЧ-а был, что контрика на работу к вольняшкам послала. Но она что-нибудь придумает, чтоб не на общие всё же...

— Откуда деньги?

— От твоих фраеров... Сначала спорили часа два, как спасать тебя, что, мол, этично, а что неэтично... Потом собрали, вот, и тебе велели не отказываться. В таком, мол, положении все средства хороши. А то запросто загнешься...

Верка-нарядчица — настоящий гений лагерной стратегии и тактики — на этот раз «отставила» меня на разводе, чтобы отправить на работу в мужской ОЛП, носивший название «командировка горкомхоза». Получив от УРЧ-а взбучку за то, что я — «страшный зверь тюрзак» — целый месяц пробыла, вопреки всем правилам, на бесконвойной работе, она устроила теперь так, что я из одной зоны попадала в другую. Но работа все-таки была «блатная». Мне предстояло стать судомойкой в лагерной столовой мужской зоны. Сытость. Крыша над головой. Сомнениям насчет этичности или неэтичности взятки — даже в лагере — мне предаваться не пришлось. Анька сама передала нарядчице деньги.

Горкомхозовской эта мужская командировка называлась потому, что на ней содержались «доходяги», отставшие от этапов по болезни. Эти живые скелеты работали на предприятиях горкомхоза, то разгребая снег на улицах Магадана, то очищая помойки.

...Столовой этой зоны заведывал крымский татарин по имени Ахмет. Его смазливая физиономия с глазами-маслинами искрилась хитростью и лукавством. Повадками, движениями, манерой говорить он напоминал ловкого слугу из классической плутовской комедии. На воле он был тоже поваром или, как он говорил, «чиф-поваром». Весь день он мелким бесом вился по своей кухне, напевая и аккомпанируя себе стуком ножей. Из лагерного пайка этот ловкач умудрялся обеспечить себе и ближайшему своему окружению довольно неплохое питание, обкрадывая доходяг самым бесстыдным образом.

Проблема женщин на этой мужской лагерной точке стояла очень остро для хорошо упитанных, сытых и наглых «придурков» из бытовиков. Две-три блатнячки поломойки были нарасхват, не

справлялись со своими задачами, хоть и пожирали кусками краденое мясо.

Сочетание зоологически хищных «придурков» с окружающими их со всех сторон еще бродячими призрачными фигурами «доходяг» придавало всей этой командировке зловещий оттенок, и в первый день моего прихода я еле сдерживала слезы, видя, что я окружена здесь, как зверь в загоне, что вряд ли мне удастся продержаться на поверхности хотя бы несколько дней.

Мое появление (женщина, политическая!) явилось там сенсацией. Придя с первым разводом в шесть часов утра, я сидела подавленная, убитая, в ожидании, когда выйдет из своей привилегированной кабинки самодержец Ахмет, его величество хозяин еды. Барак-столовая и кухня пропитаны насквозь едким запахом баланды из овса и зеленых капустных листьев. Я сидела как приговенная, а вокруг меня свора подрядчиков, старост и дневальщиков, с гнусными усмешками спорили прямо в моем присутствии о том, кому я достанусь.

Нет, из этого волчьего логова придется бежать хотя бы на обищие. Я оглядываюсь с тоской в надежде, не найдется ли здесь заступник вроде Рудольфа. Но здесь весь привилегированный слой заключенных, все «придурки» — бандиты, воры, отпетые уголовники.

— А ну катись подальше! — раздается тонкий, но оглушительно громкий голос Ахмета. — Куда бабу прислали? В столовую... А в столовой заведующий есть или как? Чего набежали!

Ахмет возмущен. Он рассматривает меня как свою законную собственность. Окидывает меня оценивающим взглядом. Затем, приплясывая и напевая на ходу какую-то блатную мелодию, он несет к моим ногам сказочные дары — миску, наполненную пончиками. Их выпекают официально для поощрения лучших ударников из доходяг. Фактически — для насыщения своры придурков.

Надо быть хитрой в борьбе с волками. Попробую вот что... Совершенно неожиданно для Ахмета я пускаю в ход непредвиденное им оружие самозащиты. Мобилизую все внутренние ресурсы памяти и слепляю довольно сносную фразу по-татарски. Я — из Казани. Я — почти татарка. Он должен относиться ко мне, как к сестре, не давать в обиду. Я — тюрзаковка. Очень измучена, истощена. Я уверена, что Ахмет-ага прогонит всех этих...

Ахмет давно не слышал звуков родной речи. Что-то человеческое тенью пробегает в его глазах-маслинах. Мусульман-ха-

ным? Черт возьми! Вот это так удача. Отощала, говоришь? Откор-  
мим лучше быть нельзя! Ладно, пожалуйста? Ахмет-ага будет  
ждать целую неделю. Работай спокойно, отъедайся, никто не тро-  
нет. Налегай на пончики! Ахмет-ага сам не любит сухопарых...

Неделя... Ну что ж, это тоже отсрочка. За неделю, может  
быть, пройдет постоянная режущая боль в сердце. А тогда вер-  
нусь на общие.

— Ешь, поправляйся, — Ахмет сует мне большой кусок варе-  
нного мяса, — от пузя ешь, а на работу не жми сильно-то... Не мед-  
ведь, в лес не убежит. Вон напарник твой пусть вкалывает. Бык  
хороший...

Я поворачиваю голову. Жестяная мойка разделена надвое.  
Около неё быстро и точно, как автомат, работает мужчина сред-  
них лет с интеллигентным, заросшим темной щетиной лицом, с  
плотно скжатыми губами, в низко надвинутом на лоб малахе. Мис-  
ки, жестяные миски, легкие и звонкие, дождем летят в мойку из  
проделанного в стене окошка. Сначала в грязное отделение мой-  
ки, где смываются остатки баланды, потом в чистое, где сполас-  
кивают. Потом миски снова высоченными грудами подаются в  
стенное окошко и летят на раздаточный стол, где их наполняют  
баландой. Водопровода, конечно, нет. Судомой каждые десять-  
пятнадцать минут бросает работу, берет два ведра и выходит во  
двор, чтобы принести из кубовой чистый кипяток.

Сразу бросается в глаза, как старательно, не по-лагерному  
делает свою работу этот сумрачный человек. Заученными, быст-  
рыми, точно на конвейере, движениями крутит он бесчисленные  
миски. Странно, что судомой не доходяга. Он нормально упитан.  
Каким путем он избежал прииска и стоит тут на типично женской  
работе?

— Глухарь! — заметив мой взгляд, объясняет «чиф-повар»  
Ахмет. — Глух, как стена. Хоть из пушки пали... Активирован. Все  
комиссовки прошел. Немец из Поволжья. Вот пусть и вкалывает  
за двоих. А ты вставай вон к чистой мойке, всполаскивай. Не  
вздумай воду таскать, пусть сам носит. А ты ешь, поправляйся,  
потом поговорим с тобой... Никого не бойся!.. — И он многозначи-  
тельно подмигивает мне.

— Глухонемой?

— Да нет, глухой только. А языком чего-то бормочет по-  
своему...

Прислушиваюсь к бормотанию глухого и явственно различаю  
слово «ферфлюхте», адресованное Ахмету. Занимаю место у вто-

рой мойки и включаюсь в работу. Она не так легка, как кажется. Миски, как живые, летят в воду без малейшей паузы, и я всё повторяю и повторяю однообразное круговое движение рукой. Через два часа деревенеют шея и плечи. Я, конечно, не хочу пользоваться льготами, предоставленными мне Ахметом, и пытаюсь сбегать за водой. Но мой напарник настойчивыми сильными движениями отнимает у меня ведра, бормочет себе под нос немецкие слова:

— Проклятый индюк... Еще женщин будет мучить... — Он бросает на нашего «чиф-повара» гневные взгляды.

Потянулись судомоечные дни. Я даже во сне всё время видела летящие на меня грязные миски. Горкомхозовские доходяги работали, а, значит, и ели в различное время. Столовая работала почти непрерывно. Но в часы пик напряжение доходило до крайности. Нельзя было не то что разогнуться, но хоть на секунду оторвать глаза от мойки. Тошнотворный въедливый запах баланды исходил теперь от меня, от моих рук, моего платья и телогрейки. От горячей воды я была всё время потная, а в дверь за моей спиной, то и дело открывавшейся, рвался морозный воздух. Кашель мучил меня, не давая заснуть по ночам.

Но если иногда Ахмет, сжалившись надо мной, давал мне подмену, а меня направлял в столовую собирать миски, я страдала еще больше. Вид этой столовой и ее клиентов был непереносим. Мест не хватало, и многие ели стоя, окружив большую круглую железную печку. Руки их, держащие миску на весу, дрожали. Вонь от дымящихся просыхающих от жаркого тепла чуней забивала даже запах баланды.

Ах, как они тряслись, эти костлявые черные отмороженные пальцы, вцепившиеся в миски... Большой барак гудел. Густой мат перемежался надсадным кашлем, харканьем, стуком ложек. Страшнее всего было слушать, когда доходяги шутили.

— За ваше здоровье! Дай Бог, не последняя! — обычно острели они перед тем, как опрокинуть рюмку экстракта стланника, который раздавался в углу столовой для предупреждения цинги.

Ахмет-ага горой стоял за санитарию, гигиену и благоустройство. Поэтому над кривыми, промерзшими насквозь окнами столовой красовались бумажные занавески с вырезанным рисунком, а одно время Ахмет, в содружестве с санчастью, вздумал даже завести умывальник и полотенце, над которым висел художественно выполненный плакат «Мойте руки перед едой — не будете болеть цингой». В умывальник скоро перестали наливать воду, так как

уж очень безнадежными оказались попытки отмыть руки доходяг. Но плакат остался.

Придурки обедали на кухне в специально отгороженном для них закутке, откуда тонкой струйкой тянулись в наш судомойный угол волшебные ароматы настоящего мясного супа и знаменитых пончиков, варенных в подсолнечном масле. В первый день моей работы Ахмет пытался усадить меня вместе с ними, но я со слезами на глазах умоляла его оставить меня с «Глухарем».

— Я боюсь их, — очень искренне говорила я, так как действительно ощущала страх в этом мире, населенном питекантропами.

Ахмет отнес такое мое поведение за счет чисто мусульманской застенчивости и даже популярно объяснил старосте и нарядчику, что казанская баба никогда не может быть шлюхой, как, скажем, московская.

Конечно, если бы быть по-настоящему принципиальной и честной, то не надо было бы есть эти пончики, испеченные из краденой муки, выдаваемой на «подбивку баланды». Но до таких вершин в умении побеждать голод я не поднялась. Утешая себя довольно гнусными софизмами насчет того, что доходягам, дескать, не попадает это всё равно никогда из рук Ахмета, я несла еду в нашу моечную, ставила на перевернутый ящик, покрытый газетой, на котором уже лежали большие куски хлеба, нарезанные моим глухим напарником. Потом мы садились друг против друга на перевернутые боком табуретки и хлебали суп из одной миски, строго соблюдая очередь в вылавливании кусочков оленины. Именно из-за этих кусочеков мы и не считали возможным разлить суп по отдельным мискам. О брезгливости или даже о разумном опасении не заразиться бы чем-нибудь от незнакомого человека — все мы начисто забыли.

Впрочем, я чувствовала, что это человек, чистый во всех отношениях. Между нами уже со второго дня установилось молчаливое понимание. Мне казалось смешной и трогательной его манеры обращаться со мной в этом мире, как с дамой. Он подавал мне бушлат, точно это было котиковое манто. Он вставал, если я стояла, пропускал меня вперед в дверях.

«Глухарь» много говорил вполголоса сам с собой. Говорил, конечно, по-немецки. Привыкнув, что к его речам все кругом относились как к бессмысленному и непонятному бормотанию, он не стеснялся высказывать свои мысли вслух. Вслушавшись в его речи, я быстро поняла, что передо мной ортодоксальный католик

из патриархальной фермерской семьи. Со мной он объяснялся только жестами и мимикой, не догадываясь, что я понимаю по-немецки.

Я чувствовала себя из-за этого как-то неловко. Точно подслушиваю чужие тайны. Ведь знал он, что я понимаю, наверное, воздержался бы от многих высказываний. И однажды я, оторвав кусок газетного листа, написала на полях по-немецки: «Я понимаю всё, что вы говорите, учтите это».

Гельмут (в этот день он назвал мне свое имя) страшно взорвался. Он долго смотрел на меня в упор влажными глазами, потом поцеловал мою разбухшую в мойке руку, насквозь провонявшую баландой, и выразил уверенность, что «гнедиге фрау» не использует во зло его речи. Он видит это по моему лицу.

Вскоре произошел эпизод, еще больше расположивший Гельмута ко мне. Это был драматический для меня эпизод, вернувший мне на время былую остроту восприятия жизни и великого Ужаса, остроту, притупленную лагерной ежеминутной борьбой за существование.

Однажды утром на нашу «горкомхозовскую командировку» пришел этап из тайги. Это были люди, отработанные на приисках, живой человеческий шлак, больше не годный для работы в забое. Во время этапирования они умирали как... чуть не написала «как мухи», но остановилась. Ведь гораздо правильнее сказать, что мухи падают как колымские доходяги. Уцелевших сортировали в Магадане, частично оставляя здесь, но главным образом направляя в такие места, как, например, Тасканский пищекомбинат, где они еще успевали до ухода в лучший мир послужить благородному делу освоения Крайнего Севера на «легких работах». Позднее я узнала, что эти легкие работы заключались в двенадцатичасовом ежедневном пребывании на пятидесятиградусном морозе в тайге, где доходяги рубили ветви стланника — сырье для пищекомбината.

Итак, пришел один из таких обратных этапов. Как всегда в таких случаях, в нашей кухне и столовой начался аврал. Надо было срочно накормить этапников баландой, выдать им белый хлеб, перемыть груды внеплановых мисок. Я, не разгибая спины, орудовала у своей мойки в тот момент, когда в окошечко просунулась голова, повязанная поверх шапки грязным вафельным полотенцем.

— Кто тут из Казани? — прохрипела голова.

Я вздрогнула. В сознании понеслись десятки жгучих дога-

док. Может, в этом этапе умирает мой муж? А может, этого человека прислал кто-то из друзей? Кто же именно?

— У нас там доходяга один ваш... казанский... Совсем доходит. К ночи наверняка дубаря даст. Вот он услыхал, что тут женщина казанская в столовой работает, да и послал меня. Хлеба просит. Хоть перед смертью наестся досыта ему охота. Можете одну пачечку земляку отдать? Вы ведь тут около еды...

Голос его дрогнул от смешанного чувства острой зависти и в то же время какого-то униженного преклонения перед теми, кто сумел занять такую позицию в жизни. Около еды!

— Обещал мне за труды полпачки, — утирая задубеневшим от вековой грязи рукавом бушлата со лба и щек капли пота, идущего от моей мойки, сказал он.

— Вот, возьмите, — сказала я, протягивая свою пайку. — Привет передайте. Погодите, а кто же он? Фамилия как?

— Фамилия-то майор Ельшин. В НКВД там, в Казани, работал.

Пайка дрогнула в моей руке и упала на пол. Майор Ельшин! Передо мной крупным планом, как на экране, поплыл уютный кабинет с большим окном на бульвар. Черное озеро. В ушах зазвучали бархатистые звуки майорского голоса. «Разоружайтесь перед партией!.. Вы — романтическая натура... Вас увлекло это тщилое подполье...» Он! Это он квалифицировал мои «преступления» посмертному восьмому террористическому пункту. Это он сделал меня «страшным зверем тюрзаком». Хорошо, пусть он не мог отпустить меня на волю, чтобы самому не угодить под зубья этого «колеса истории», но ведь мог же он вполне — это было в его власти — дать не десять, а пять... Мог не ставить на мне тавра «террор», ограничиться хотя бы «антисоветской агитацией», которая еще оставляла какие-то шансы на жизнь. А бутерброды? Разве можно забыть эти кусочки французской булочки, прикрытые ломтиками нежно-розовой благоухающей ветчины? Онставил тарелку с этими бутербродами передо мной — голодной узницей подвала — и искушал: «Подпишите протоколы — и кушайте на здоровье!»

— Вы что, знали его? Он, говорят, невредный был. Других-то энкаведешников пришли многих на приисках. А этому никто не мстил. Все говорят — невредный. Ну да уж теперь всё равно: нынче к ночи обязательно дубаря врежет. Я уж знаю, нагляделся. Как зубы обтянутся да вперед вылезут изо рта — так всё...

В глубине запавших орбит посланца мелькнула темная тень

опасения — неужели уплывет из рук эта пайка, такая близкая, из которой ему обещана половина?

Обтянувшиеся зубы... Это была как раз та деталь, которой недоставало, чтобы прекратить мои колебания. Цинготные зубы, обтянутые сухой кожей и вылезшие вперед. Я видела их у умирающей Тани, друга моего этапного.

— Вот хлеб. Передайте... Постойте! Только скажите ему, что это от меня. Запомните мою фамилию и скажите ему...

Ноги вдруг отказались меня держать. Я села на перевернутый ящик, служивший нам обеденным столом.

— Вас ист лоз? — тревожно спросил меня Гельмут-«Глухарь», подсовывая мне карандаш и бумагу для ответа.

— Тот, кто прислал за хлебом, это мой следователь.

— О-о-о...

Последовавшие затем дни были для меня страшной мукой. Этап ушел, я не узнала, умер ли Ельшин, бывший блистательный майор, чьей функцией было соблазнять свои жертвы пряником, пока другие хлестали их кнутом. Но меня терзало мое собственное поведение. Как я могла унизиться до такой мелкой мстительности! Зачем потребовала, чтобы ему сообщили мою фамилию, зачем постаралась отравить горечью этот последний в его жизни кусок хлеба? Гнусность какая! Разве в этом аду мы уже не квity? Не заплатили друг другу за всё? Счет закрыт. Закрыт самим фактом его смерти. Такой смерти.

Но в то время как я терзаясь такими мыслями, «Глухарь», наоборот, страшно поэтизировал эту пайку хлеба.

— Вы останетесь живы, слышите? — шептал он мне во время работы по-немецки. — Вы выйдете на свободу, потому что вы дали хлеб своему врагу... Я ваш друг навсегда. Я готов за вас отдать жизнь.

К несчастью, в самое ближайшее время Гельмуту пришлось делом доказать серьезность этого заверения.

Дело в том, что пришла к концу неделя, которую Ахмет-ага дал мне на то, чтобы отъесться. Всё чаще я ловила на себе его плотоядные взгляды. А когда однажды утром он, распустив вовсю павлинин хвост, преподнес мне большой пуховый платок (придурки легко добывали такие вещи из дезокамеры, где грабили новеньких под предлогом дезинфекции), я поняла, что передышке пришел конец. Придется снова отправляться на «общие».

— Нет, нет, спасибо, мне не надо этого платка... У меня есть лагерный, он теплый...

Ахмет плотно сжал губы, и рот его стал похож на захлопнувшийся капкан.

— Знаю, что ты культурный... Сказали мне, что раз культурный, нельзя сразу. Ахмет ждал. Кормил. Сегодня культурный, завтра культурный... Сколько можно быть культурный?

Он раздраженно отошел от меня. Но через час потребовал, чтобы я зашла к нему в каптерку:

— Возьмешь тряпки для пол мыть...

Я давно просила у Ахмета новую половую тряпку. Предлог был удачный. Но мне всё же было страшно идти в темную каптерку. Да нет, не посмеет. Здесь все рядом, всё слышно, я закричу, если он... Но на всякий случай торопливо нацарапала Гельмуту записочку: «Ахмет вызывал в каптерку. Следите!» Он успокоительно кивнул головой, и его глубоко сидящие глаза зажглись фанатическим огоньком.

Под потолком каптерки тлела красноватым светом маленькая лампочка. Ахмет в позе пресытившегося падишаха развалился на мешках с тряпьем.

— Не хочешь платок, — naï вот это!

Длинное ожерелье из каких-то нестерпимо сверкающих стекляшек победно позякивало в его руках. Видимо, это великолепие полностью отражало цветение его шеф-поварского сердца, и теперь он считал свое дельце вполне слаженным. Мой отказ принять подарок пробудил в нем неандертальца. Дверь, к которой я бросилась, оказалась запертой на ключ. Я закричала. На меня надвигался рот-капкан, сверкающие угли крымских глаз.

Вдруг хлипкая дверь каптерки дрогнула, заскрипела, подалась вперед. Рывок — и... я увидела Гельмута, лежащего на полу с оторванной дверью в руках. Казалось, что он отброшен волной гнева, которым пылало его лицо. Не то раненый гладиатор, не то средневековый охотник, одержавший победу над диким кабаном...

Секунда молчания. Затем — взрыв обоюдных немецко-татарских проклятий. Впрочем, Ахмет быстро перешел на русский.

— Я вам покажу, сукины дети! Стакнулись, значит? «Глухарь», значит, лучше Ахмета? Сейчас к нарядчику пойду... Обоих выгоняю. На трассу оба! В такой этапчик у меня загремите оба, что костей не сберете!

Но шеф-повару пришлось отложить на несколько часов свою «кровавую месть». Прибежавший староста возвестил появление на нашей территории еще одного огромного «обратного этапа» с приисками.

— Быстро! Срочно организовать кормежку! А то мрут на ходу, а ты отвечай за них! Что-о? Снимать с работы? Нашел время! Командуй давай! Всех за полчаса накормить!

Ахмет заметался.

— «Глухарь» пусть один моет! — скомандовал он. — Нечего им там рядышком колдовать! А ты — марш на раздачу! Покантился напоследок!

Я стою у раздаточного окошка, методически опуская черпак в бачок с баландой, вручаю полные миски каждому из проходящей передо мной очереди фантастических существ, закутанных поверх бушлатов в мешки, обмотанных тряпками, с черными, отмороженными, гноящимися веками и носами, с беззубыми кровянистыми деснами. Откуда они пришли? Из первозданной ночи? Из бреда Гойи?

Какой-то апокалипсический ужас сковывает всё мое существо. Но я продолжаю яростно мешать баланду в бачке, чтобы налить им погуще, посытнее.

Идут и идут. Нет конца их черной очереди. Берут негнувшись пальцами миску, ставят её на край длинного, сколоченного из досок стола и едят... Вкушают баланду, как причастие. Как будто в ней вся тайна сохранения жизни.

Вдруг один из них наклоняется ко мне в окошко и просит:

— Погорячее там нельзя ли? Кишки погреть...

— Очень горячая! Ешьте на здоровье, товарищ! — говорю я плача. И вдруг слышу его громкий крик:

— Братцы! Да тут баба! Митька! Подь сюда, баба здесь, право! Господи! Три года из бабьих рук щей не хлебал...

Нет, это не Ахмет, не крымский шеф-повар... Это мужик, простой русский мужик, отец семьи, уже три года живущий на страшном колымском прииске жизнью бесполого выночного животного. На приисках они не видят женщин годами. И эта миска из моих рук пробудила в этом человеке совсем было угасшее человеческое.

— Плесни еще добавочку, голубка! — просит он через несколько минут, подходя с другой стороны окошка. — Мила ты, моя бабонька! Скажи что-нибудь своим бабьим ласковым голосом, хоть послушать, как оно было раньшее-то...

Он протягивает миску своей огромной, когда-то сильной рукой. Рука земледельца, рука каменотеса с большим черным ногтем.

— Спасибо, родная, дай тебе Бог детишек своих повидать.

Я вдруг наклоняюсь в окошко, притягиваю к себе его голову и целую его в беззубый, обросший колючей щетиной рот.

...На следующее утро Верка-нарядчица очень часто повторяла тревожную формулу — «Налево! Отставить!» Формировался большой этап в тайгу из наших тюрзаков. Я была «отставлена» одной из первых. Не знаю, приложил ли к этому свою мстительную руку Ахмет-ага. Вернее, просто я попала в общий список отправляемых в знаменитый таёжный совхоз Эльген, куда все наши больше всего боялись попасть и куда почти все всё-таки рано или поздно попадали.

Я успела нацарапать записочку Гельмуту и сунуть ему с тем, кто шел на «горкомхозовскую командировку». Но получил ли он её и как сложилась судьба этого судомоя-рыцаря, пожертвовавшего из-за меня спасительной крышей, я так и не узнала.

## 7. ЭЛЬГЕН — ПО-ЯКУТСКИ «МЕРТВЫЙ»

Я упорно писала маме жизнерадостные письма. «Ты ведь знаешь, как я люблю путешествовать. Вот и сейчас я рада, что из Владивостока мы поедем дальше...» Так начиналось мое письмо, отправленное с транзитки через «волю». Из Магадана я тоже посыпала ей через своих гостиничных друзей довольно складные описания северной природы, заканчивавшиеся неизменно предположениями, что, мол, поедем дальше.

А она, бедная, писала в ответ:

«Всё смотрю на карту и удивляюсь: куда же еще можно ехать дальше...»

Эти ее слова я всё время вспоминала во время этапа из Магадана в Эльген. Действительно, вроде дальше уже было некуда, а мы всё ехали и ехали, вернее, нас, окоченевших, сгрудившихся, как овцы по дороге на бойню, всё волокли в открытых грузовиках. И казалось, не будет конца этим снежным пустыням, этим обступившим нас сахарным головам сопок.

Как всегда, в начале пути кое-кто еще делился литературными ассоциациями. Слышались чьи-то возгласы о Джеке Лондоне и Белом Клыке, об Аляске. Но очень скоро все замолкли, всех охватило оцепенение от стужи и от сознания, что случилось то, чего все боялись, что везут-таки нас в тот самый Эльген, что

висел над нами дамокловым мечом все магаданские восемь месяцев.

Было четвертое апреля, но мороз стоял сорокоградусный, с ветерком. Приближение весны сказывалось только в совершенно ослепительном великолепии чистого снега и в разноцветном сверкании на нем солнечных лучей. От этого зрелица нельзя было оторвать глаз. Увы, мы тогда еще не знали, что слово «ослепительный» в этом случае надо понимать буквально, что сказочная эта красота коварна, а пересечение ультрафиолетовых лучей на этом снегу слепит по-настоящему. Страшные острые ожоги глаз и конъюнктивиты были еще для нас впереди.

Ощущение «края света» и удаления от человеческой цивилизации не покидало нас всю дорогу, вызывая страшную тоску.

— Честное слово, я не удивлюсь, если сейчас вон из-за той сопки выйдет мамонт, — шепчет, стуча зубами и пытаясь еще больше сжаться в комок, моя соседка по машине.

И я не переспрашиваю. Вот именно — мамонт. Мне тоже кажется, что мы едем не только далеко от наших городов, но и далеко назад от нашей эпохи, прямиком в пещерный век.

Густой слоистый туман стоял над Эльгеном, когда наши машины въехали на его главную магистраль, где разместилось низкое деревянное здание управления совхоза. Был час обеденного перерыва, и мимо нас, по направлению к лагерю, шли длинные вереницы «работяг», окруженных конвоирами. Белые дубленые полуушубки конвоиров мелькали, как светлые блики, на сплошном сером фоне. Все работяги, как по команде, поворачивали головы в сторону нашего обоза. И мы тоже, стряхивая с себя этатное оцепенение, напряженно вглядывались в лица своих новых товарищей.

— Говорили, что в Эльгене одни женщины. Но вот эти... Как ты думаешь, не мужчины ли это?

— Гм... Похоже... Впрочем...

Сначала мы подшучивали друг над другом. Вот дожили: мужчину от женщины отличить не умеем... Ой, баба! Ой, нет! Как Чичиков о Плюшкине... Но чем пристальнее всматриваемся в проходящие шеренги работяг, тем больше становится не до шуток. Да, они бесполы, эти работяги в ватных брюках, тряпичных чулках, в нахлобученных на глаза малахаях, с лицами кирпичными, в черных подпалинах мороза, закутанными почти до глаз какими-то отрепьями.

Это открытие сражает нас. На многих, вроде давно и окон-

чательно высохших глазах — снова слезы. Вот что ждет нас здесь. В этом Эльгене мы, уже потерявшие профессию, партийность, гражданство, семью, потеряем еще и пол. Завтра мы вольемся в призрачный марш этих странных существ, что проходят сейчас мимо наших машин, хрустя окаменелым снегом.

— Эльген — по-якутски «мертвый», — разъясняет одна из присоединенных к нашему этапу штрафниц. Она уже была здесь, чудом вырвалась назад в Магадан, а теперь вот снова «погорела» на связи с вольным. Она показывает нам агробазу, конбазу, маячущую в отдалении молферму. Но эти веселые энергичные слова так не вяжутся с общим пейзажем, что мы пропускаем их мимо ушей. А вот Эльген — по-якутски «мертвый» — это напрочно оседает в сознании. Правильно назвали якуты.

Вот она — зона. Колючая проволока, симметричные вышки, скрипучие ворота, алчно разинувшие зев навстречу нам. Ряды приземистых, крытых рваным толем бараков. Длинная дощатая общая уборная, поросшая торосами окаменелых нечистот.

И всё-таки мы рады, что приехали. Как-никак становище. От недвижного дыма над отведенным нам бараком тянет жилем, обигаемым. И проходит мало-помалу чувство нестерпимой безоружности и обнаженности, какое охватывало всех в этом ледяном этапе, в тисках ослепительной доисторической тайги.

И вот мы уже стоим, сгрудившись, около раскаленной железной «бочки», на которой успокоительно булькает кипящая в огромном баке вода. Пахнет сохнувшими портнянками и поджариваемыми на печке ломтями хлеба. Жилье... Понемногу разматываем свои тряпки и скрюченными, как бы стеклянными пальцами вцепляемся в полученные пайки хлеба.

В этот тяжелый момент судьба послала нам одного из тех людей, которые для того, наверно, и рождаются на свет, чтобы быть утешением окружающих. Это была дневальная барака Марья Сергеевна Догадкина. Простая, поворотливая, чернявая пятидесятилетняя женщина, с теми самыми интонациями московской просвирни, которые умиляли еще Пушкина. Нет, она и не думала говорить нам ласковые слова. Наоборот, она все время кого-нибудь поругивала.

— Дверь-то разве так закрывают? — шумела она, ныряя в густое облако морозного тумана, клубящегося у входа в барак. И после ее вмешательства перекошенная обледенелая дверь как-то становилась на свое место, сберегая тепло.

— Да разве так просушишь? Комком сунула... Плохо тебя маманя учила... — упрекала она кого-то и, отняв тряпку, ловким движением расправляла ее и развешивала около печки на ветреке, где, казалось, уже невозможно было пристроить что-нибудь.

— Ты чего это хлеб-то такими кусищами глотаешь, как чайка? Разве будешь сыта? Ишь, набросилась, точно нападает на пайку! Дай-ка сюда, я поджарю... — И Марья Сергеевна ловко натыкала кусок чьей-то пайки на специально приспособленный железный вертел, мгновенно опаляла его на раскаленной «бочке» и отдавала владелице горячий кусок, благоухающий священным запахом печеного хлеба.

— Вот так-то сытнее будет...

Как выюн, скользила она по бараку, каждого оделяла своим опытом, своим трудом, своим требовательным и доброжелательным материнским словом. И вот уже кажется, что мы все — гости Марии Сергеевны. Плохое, конечно, жилье у нашей дорогой хозяйки, да и стол небогат. Но зато нам всем ясно, что «чем богаты, тем и рады». И как-то сама она вроде и не заключенная (хоть статью имеет — «антисоветская агитация»), настолько хозяйские у нее взгляды и движения, каждое из которых направлено на то, чтобы кому-то сделать легче, переносимее.

— С утра вас ждала, снега-то побольше натаяла. Вкусный кипяточек. Пейте от души, согревайтесь. Кружек у кого нет, бачочки вон там, на полочке, берите. И про уборную не томитесь, на улицу ночью не бегайте. Хватит, намерзлись. Вот я в уголку ведро большое приспособила. Вынесу тихонько утром, надзор и не заметит. Да не сокрушайтесь сильно-то... Эльген да Эльген... Не так страшен черт, как его малютят. Я вон уж третий год здесь, а жива. Спите себе. Утро вечера мудренее. Поздно уж. Ходит Сон по лавочке, а Дрема-то по избе...

Я даже вздрагиваю от радости. Это слова из песенки, которой наша няня Фима баюкала маленького Ваську. И я засыпаю на верхних нарах с каким-то странным чувством покоя и прочности очага. Сквозь сон слышу, как Марья Сергеевна подметает пол, звякает ведрами, чудодейственно превращая барак эльгенской зоны в деревенскую избу. В грязную бедную избу, где шуршат черные тараканы, но где всё же пахнет домовитостью и печеным хлебом, где близко к вечеру по избе ходит Дрема. Сон сладко

наваливается на меня. Я слышу голос няни Фимы, качающей моего младшего сыночка:

Где она его найдет,  
Тута спа-а-ть укладет...

Только наутро грозная реальность снова ощеривается на нас. Опять возникает слово «этап». Как? Значит, и отсюда еще есть куда ехать? А как же! А Мылга? Она считается штрафной для Эльгена. А то есть еще Известковая. Так та — штрафная для Мылги. А лесоповал? Сколько точек в тайге, по сравнению с которыми этот барак дворцом покажется! А лето придет — сенокос. По кочкам... Но до того еще дожить надо.

Марья Сергеевна не из тех, кто любит сказки сказывать. Что есть, то есть. Глаза закрывать нечего. Везде люди. И на лесоповале живут... Не все бригадиры — звери. Есть и ничего...

— Статьи-то у вас больно аховые. Тюрзаки ведь вы... Хуже каэртедешников, говорят. Ничего, обомнемся... Привыкнет начальство. Сначало-то и каэртедешникам пикнуть не давали, а теперь вон одну даже завбаней поставили.

Да, мы попали на Эльген, на штрафную командировку, но не за провинности, а просто «по статье», как тюрзаки. А другие здесь почти все за что-нибудь, чаще здесь самые отъявленные рецидивисты — «оторвы». А еще — мамки.

— Чего-то начальству так подумалось, что здесь самое что ни на есть место, подходящее для младенчиков. Право... Деткомбинат построили... Зона для заключенных деточек. Ну, и мамок тут полно... Которые младенцы выживут, тех уж из ружья не убьешь...

Мамки. Этим собирательным именем обозначались все заключенные женщины, пойманные на запретных любовных связях или «уличенные» в беременности. По отношению к ним строгие меры пресечения сочетались с некоторым даже гуманизмом, что ли...

Несколько раз в день раздается специальный сигнал с вахты:  
— На кормежку!

И те же закутанные в тряпье бесполые фигуры, «разобравшись» по пяти, торопливо топают под охраной тех же дубленых полуушубков в деткомбинат, где каждой выдается на руки ее младенец. Перед младенцем стоит замысловатая задача — вытянуть несколько капель молочка из груди той, которая питается эльген-

ской пачкой, а работает на мелиорации. Обычно уж через несолько недель лагерные врачи констатируют «прекращение лактации», и мамка отправляется в этап — на лесоповал или сенокос, а младенцу предлагается отстаивать свое право на жизнь при помощи бутылочек «Бериса» и «Це-ри-са». Так что состав мамок страшно текуч, все время обновляется свозимыми со всей Колымы грешницами.

— Вот это так охрана материнства и младенчества! — восклицает Нина Гвиниашвили, увидев впервые развод мамок в окружении солдат с винтовками наперевес...

Но все подробности насчет детского городка и материнских радостей на Эльгене мы узнаем уже позднее. А сейчас мы снова, после короткой передышки в бараке Мары Сергеевны, наэлектризованы до предела слухами об этапах, ползущими из УРЧа (учетно-распределительная часть). Там, говорят, уже полным ходом составляются этапные списки на лесоповал. Слухи о том, где всего страшнее, разноречивы. По одним сведениям, на седьмом километре можно продержаться дольше, чем, скажем, на четырнадцатом или на Змейке, поскольку там конвой не очень сволочной. По другим, наоборот, на седьмом можно скорее «дать дубаря», так как там только слава, что бараки, а холода в них, как в лесу...

Галя Стадникова отваживается обратиться с вопросом к начальнику режима:

— Скажите, пожалуйста, а не могу я рассчитывать на работу по специальности? Я фельдшер-акушерка...

Режимник криво усмехается и отчеканивает:

— Для ваших статей у нас две специальности: лесоповал и мелиорация.

...Мне достался седьмой километр. Список смешанный. Группа наших, тюрзаков, но есть и эльгенские старожилы. Среди них и те, кто «пляшет и поет», т. е. блатные, и несколько человек «православных христианок» — религиозных колхозниц из Воронежской области. Этих везут на седьмой как штрафниц за отказ от работы по воскресеньям.

Целый час стоим у вахты, пока начальство о чем-то тихонько препирается. На вахте сидит начальник санчасти Кучеренко, меднолицый коренастый человек с наружностью пожарника Кузьмы. Его почтительно именуют доктором, хоть, как выяснилось в дальнейшем, он ротный фельдшер.

— А если падеж в пути? — говорит он громко, так что нам слышно. — Посмотрите, тюрзаки-то как одеты...

Да, мы снова хуже всех. На колхозницах какие-то чудом уцелевшие собственные грубошерстные шали. У некоторых блатнячек даже полушибки. А мы полностью казенные, без единой своей тряпочки, и чуны наши разлезаются, а в дыры набирается снег.

Позднее мы узнали, что есть-таки такая формула официального гуманизма: «одеть и обуть по сезону». И в какие-то периоды, когда «падеж» зеков превышал установленные нормы, работников санчасти начинали тягать по этому поводу. В данном случае представитель гуманного ведомства, оказывается, переносил не приятности как раз такого типа, почему и возражал против нашего этапирования.

Больше часа стояли мы у вахты возле ворот, коченея, ожидая исхода начальственной дискуссии и слушая пение блатных. Пританцовывая, они вопили:

Сам ты знаешь, что в субботу  
Мы не ходим на работу,  
А у нас субботка — каждый день...  
Ха-ха!

Наконец, ура! Гуманное начало одержало верх. Кучеренко удалось доказать очевидное: мы действительно одеты и обуты не по сезону... И вот нас везут, тащат на прицепах к тракторам, поскольку никакой другой транспорт не может пробраться к седьмому, лежащему в стороне от трассы, в глубине почти нехоженной тайги.

Едем... Через буераки и лесные протоки, через проклятия конвоя и матершину блатнячек. А седьмой-то, видно, довольно условно назван. С гаком... Безусловно с гаком, да еще и большим. Навстречу — ни человека, ни зверя. И зима, зима... Хоть это и апрель. Апрель сорокового года.

## 8. НА ЛЕСОПОВАЛЕ

Наш бригадир-блатарь Костик, по прозвищу Артист, существо довольно просвещенное. В какой-то период своей бурной жизни он подвизался во вспомогательном составе провинциального театра. Поэтому он знает такие замысловатые словечки как

«буффонада», «кульминация», «травести». Это придает его матерщине неповторимо своеобразный оттенок.

На наш этап он смотрит абсолютно безнадежно. Он ходит вдоль нашего строя, как полководец перед боем, и с глубоким огорчением рассматривает этих вооруженных пилами и топорами оборванцев. Ну да! Видимо, придется ему по личным делам в Эльген таскаться. Из кого тут выбрать? Блатнячек он не выносит. Человек он чистоплотный, боится Венеры. Монашки — ну, те, известно, тронутые. А тюрзачки эти... Может, когда-то и были они бабами. А нынче никакой от них серьезности, доходяги натуральные... Просто говоря, травести...

Костик поправляет челочку на лбу и напевает:

Травести да травести,  
не с кем время провести...

Но, завидя приближающегося заведующего всеми лесозаготовками по совхозу, переключается в производственный план.

— С такими доходягами разве такую норму вытянешь? Сплошной архив. А!

Павел Васильевич Кейзин, зав лесозаготовками, с одинаковым сокрушением рассматривает и наши пилы — плохие, ржавые, без развода, и нас самих. — Тó еще пополнение! — Садистских навыков этот человек на своей нелегкой работе не приобрел, но искусством смотреть на людей как на придаток к пилам и топорам овладел в совершенстве.

От наших хибарок до места работы около четырех километров. Гуськом бредем по целине, по проваливающемуся с каждым днем всё более волглому апрельскому снегу. С первых же шагов ноги промокают насквозь, а когда после обеда начинает снова жать мороз, леденеют чуни и острые боли в отмороженных ногах не дают ступить.

Костик как только остается наедине с нами, без приехавшего на денек Кейзина, без конвойных, частенько курящих группкой у костра, так и начинает неглижировать своими обязанностями. Инструктаж по лесоповальному делу он проводит, примерно, так:

— Дерево видали? Не видали? Эх вы, Марь Иванны! В сугробе стоит, видали? Ну, стало быть, перед пилкой обтоптать его надо... Вот так...

Ему-то хорошо обтаптывать снег в его высоких фетровых бурках с франтовски загнутыми голенищами, со свисающими на

бурки по блатной моде брюками. А мы с Галей Стадниковой, моей напарницей, пытаемся повторить его движения и сразу набираем полные чуни снега.

— Теперь топором подрубай спереди. А сейчас с двух сторон берись за пилу и тяни. Да что вы, Марь Иванны, пилы, что ли, отродясь в руках не держали? Вот это так буффонада!

— Неужели вы всерьез думаете, что мы с Галей сможем свалить такое дерево?

— Не одно такое дерево, а восемь кубометров на двоих-то — ваша норма, — слышим мы сухой, деловой ответ. Не Костик, понятно, отвечает так, а подошедший зав лесозаготовками Кейзин. А Костик, которому только что было глубоко наплевать и на нас, и на деревья, гнусным подхалимским голоском добавляет:

— Три дня вам на освоение нормы. Три дня пайка идет независимо. А с четвертого дня — извини, подвинься... По категориям, от выполнения нормы. Как потопаешь, так и полопаешь...

Три дня мы с Галей пытались сделать немыслимое. Бедные деревья! Как они, наверное, страдали, погибая от наших неумелых рук! Где уж нам, неопытным и полуживым, было рушить кого-то другого. Топор срывался, брызгая в лицо мелкой щепой. Пилили мы судорожно, неритмично, мысленно обвиняя друг друга в неловкости, хотя вслух никаких упреков не делали, сознавая, что ссориться было бы роскошью, которой мы не могли себе позволить. Пилу то и дело заедало. Но самым страшным был момент, когда искромсанное нами дерево готовилось наконец упасть, а мы не понимали, куда оно клонится. Один раз Галю сильно стукнуло по голове, но фельдшер нашей командировки отказался даже йодом прижечь ссадину, заявив:

— Старый номер! Освобождения с первого дня захотела!

Мы внимательно наблюдали работу воронежских религиозниц. То, что они делали, казалось нам черной магией. И как аккуратно и быстро делали они подруб! Какие размашистые, согласованные движения приводили в действие их пилу! Как покорно в нужную сторону дерево падало к ногам тех, кто с детства знал физический труд!

Если бы нам дали немного опомниться и накормили дэсыта, кто знает, может быть, и мы «охватили» бы когда-нибудь эту неуловимую норму. Но в это время команда нашей ВОХРы, по общим отзывам, не очень сволочного, перебросили на четырнадцатый, а сюда был прислан тамошний. Этот злодей прибыл сюда с несколькими злоденятами. И начался режим на уничтожение.

— Не курорт! — Этой уже хорошо знакомой нам формулой он начал свое княжение. — Норму! Питание по выработке! За саботаж — карцер!

В нем было что-то общее с ярославским Коршунидзе. Правда, ничего кавказского не было в его белобрысом, испорченном оспой лице. Но привычная «тá» гrimаса, в которую он, говоря с нами, складывал губы, придавала ему это фамильное сходство. Все заметили.

— Просто брат Коршунидзе. Ну, хоть не родной брат, так двоюродный. Кузен...

Так Кузеном и звали его между собой.

...Ранним утром, часов так с пяти, мы поднимались от сна. Бока нестерпимо ныли. Никаких вагонок здесь не было, сплошные нары были сколочены не из досок, а из так называемых кругляшей. Необрубленные сучки впивались в тело. Каждое утро начиналось с ощущения томящей пустоты внутри. Его надо было колоссальным усилием преодолеть, чтобы встать и сделать первое жизненное движение — подойти к железной печке, чтобы открыть в кучке наваленных вокруг печки вонючих тряпок свои портянки и рукавицы. Это было не так-то просто. Ведь впервые после «Джурмы» мы находились в одном помещении с уголовницами, а это осложняло каждый шаг. Девкам ничего не стоило схватить чужие, более крепкие портянки или чуни, оттолкнуть от печки, вырвать из рук более острую пилу. А никаких жалоб Кузен не принимал. Он был полностью повернут, так сказать, лицом к производству и очень доходчиво объяснял нам на разводах и поверках, что никакой уравниловки быть не может, и бросать народный хлеб на контроликов и саботажников, не выполняющих норму, он не намерен. На все же вопросы, связанные с поддержанием нашего существования, у него была в запасе какая-то особенно выразительная гrimаса и всё та же короткая формула: «Не курорт!»

Так вошел в нашу лесную жизнь Великий Голод, Кто его знает, Костика-Артиста, может, он и смилиостивился бы над нами и стал хоть понемногу приписывать нам проценты. Но Кузен поставил дело научно. Он сам контролировал своих злоденят, чтобы они гоняли нас от костров и проверяли работу бригадиров. И когда Костик приходил с длинным метром замерять наши дневные достижения, за спиной у него стоял стрелок, так что даже при желании Костик не мог ничего для нас сделать.

— Восемнадцать процентов на сегодняшний день, вот и вся ваша кульминация, — мрачно говорил Костик и, косясь на стрелка, выводил эту цифру против моей и Галиной фамилий.

Получив «по выработке» крошечный ломтик хлеба, мы шли в лес и, еще не дойдя до рабочего места, буквально валились с ног от слабости. Всё-таки этот кусочек мы делили на две части. Первую съедали утром, с кипятком, вторую — в лесу, посыпая его сверху снегом.

— Правда, Галя, бутерброд со снегом всё-таки больше насыщает, чем пустой хлеб?

— Ну еще бы...

Первую неделю голодного режима мы всё еще шутили иногда. Например, практиковалась такая игра. Вот, еле волоча ноги, мы бредем с работы. Сгорбленные, с шелушащимися коричневыми лицами, в немыслимых лохмотьях. Вот тут и начинается сочинение «великосветской хроники». Вроде некий бульварный листок капиталистического мира живописует светские развлечения какой-то группы фешенебельного общества.

— Веселой кавалькадой возвращались дамы со своего увлекательного лесного пикника, куда они отправились минувшим утром из замка Эльген в долине Тосканы (Эльген считался Тосканского района)... Звонкие голоса дам оглашали тенистые уголки парка. Особенной элегантностью отличался костюм амазонки, которым поразила всех русская княжна Затмилова (заплаты на ватных брюках Гали «Затмиловой» действительно превосходили всё возможное своим причудливым видом).

Головной убор баронессы фон Аксенбург (это сплав двух моих фамилий), скопированный с лучших моделей Пакэна, по-видимому, явится эталоном моды предстоящего весеннего сезона... В замке дам ожидал великолепный обед со свежими омарами, сервированный внимательным и опытным мажордомом Кузеном де Коршунидзе...

Как ни странно, но такая болтовня в первые дни нашего голодного режима еще как-то поддерживала, утешала, укрепляла в сознании, что мы — люди.

Но скоро стало не до шуток. Кузен пустил в ход свое второе оружие. Теперь невыполнение норм расценивалось как саботаж и каралось не только голодом, но и карцером. Прямо из леса нас, не выполнивших нормы (а не выполняли, физически не могли выполнить ее почти все наши тюрзаки), вели не в барак, а в карцер.

Трудно описать это учреждение. Не отапливаемая хижинка скорее всего похожая на общую уборную, поскольку для отправления естественных потребностей никого не выпускали и парашюты тоже не было. Почти всю ночь приходилось там простоявать на ногах, т. к. для сидения на трех сколоченных кругляшах, заменивших нары, выстраивалась очередь. Нас загоняли туда прямо из леса, мокрых, голодных, часов в восемь вечера, а выпускали в пять утра — прямо на развод и опять в лес.

На этот раз, казалось, уже не уйти от нее, постоянно настигающей нас смерти. Еще капельку — и догонит... А мы уже и так задыхаемся, убегая от нее. По крайней мере я, увидя свое туманное изображение в куске разбитого зеркала, найденного Галей, сказала ей словами Марины Цветаевой:

Я такую себя не могу любить,  
Я с такою собой не могу жить...

Это не я! И Галя не стала возражать, что, мол, ты! Только посмотрела сухими глазами и сказала:

— Хоть бы он малыша не бросил...

Это она о своем муже. Он у нее как-то не попал, уцелел на воле.

## 9. СПАСЕНИЕ ПАДАЕТ С НЕБА

Сначала мы пытались спасаться сами. То есть, собственно, идею подал Костик-Артист, у которого, видимо, всё же было незлое сердце.

— Доходите? — осведомился он как-то у нас с Галей, воспользовавшись отсутствием конвоира. — Тихонько доплываете, стало быть, и лапки кверху? И вся ваша мизансцена, да?

— А что же можно делать еще, бригадир? Проинструктируйте...

— Соображать надо. Колыма-то, она на трех китах держится: мат, блат и туфта. Вот и выбирай, который кит тебе подходящий, — загадочно сказал Костик.

Но это была только теоретическая подготовка. Практический урок мы получили от нашей же тюрзачки Полины Мельниковой. Она была в числе немногих, каким-то чудом выполнивших норму. Работала она одна, без напарницы, пилой-одноручкой. Однажды наши участки оказались рядом.

— Смотри, — сказала мне Галля. — Настоящий памятник Гоголю.

— Да, очень похоже.

Сгорбившись и закутавшись в свои тряпки, она уже больше часа неподвижно сидела на промерзшем пне, отбросив пилу и топор.

— Когда же это она норму выполняет, если так сидит?

Оказывается, норма у Полины была уже «ожвачена». Припертая нами к стенке, она, быстренько озираясь, объяснила нам технику дела.

— Кругом-то ведь штабеля. Ну, старые штабеля, напиленные прежними этапами. Полнό ведь их тут, и никто не считал, сколько...

— Ну и что же? Ведь сразу видно, что это старые, а не свеже напиленные...

— А что их, собственно, отличает? Только то, что срезы у них потемневшие. А если от каждого бревна отпилить маленький ломтик, то сразу будет самый что ни на есть свеженький. А потом переложить штабель на это место, только комлями в другую сторону. Вот и норма...

Эта операция получила у нас в дальнейшем название «освежить бутерброды». Она дала нам передышку. Мы немного видоизменили политику Полины: основание штабеля мы делали из «своих», нами спиленных деревьев, затем оставляли пару сваленных, но еще не распиленных деревьев, чтобы была видимость разгара работы. А потом принимались таскать бревна со старых штабелей, спиливая с них ломтики и укладывая в свой штабель. Таким образом, из трех китов Колымы мы избрали третий — туфту. И чтобы не отступать от принципа полной правдивости, добавлю, что совесть нас нисколько не мучила. Трудно сказать, догадывался ли Костик об источниках нашего трудового подъема, но молчать он молчал.

Передышка кончилась неожиданно. Мы еще не успели хоть немножко окрепнуть от целой, стопроцентной пайки, отдохнуть от карцера, как на наш седьмой нагрянули тракторы для вывоза заготовленной древесины. В течение трех дней наши «резервы» для выполнения нормы оказались исчерпанными.

Кузен пришел в бешенство, узнав, что мы опять перешли на 18-20 процентов. Туфта теперь обратилась против нас.

— Ведь могли же, когда хотели, сто процентов вырабатывать! А теперь опять за саботаж? Сгною в карцере!

...Много раз за восемнадцать долгих лет наших «страстей» мне приходилось быть наедине с подошедшей совсем вплотную Смертью. Но привычка всё равно не выработалась. Каждый раз — всё тот же леденящий ужас и судорожные поиски выхода. И каждый раз мой неистребимо здоровый организм находил какие-то лазейки для поддержания еле теплящейся жизни. И, что важнее, каждый раз возникало какое-то спасительное стечеие обстоятельств, на первый взгляд абсолютно случайное, а по сути — закономерное проявление того Великого Добра, которое, несмотря ни на что, правит миром.

На этот раз спасение от неминучей эльгенской лесоповальной смерти первой начала приносить... брусника. Да, именно она, кислая, терпкая северная ягода. Да не та брусника, что появляется, как ей положено здесь, в конце лета, а брусника подснежная, оставшаяся от урожая прошлого года, отоспавшаяся в сугробах таежной десятимесячной зимы, а теперь выведенная из тайников осторожной бледной рукой колымской весны.

Шел уже май, когда я, обрубая сучья на сваленной лиственнице и низко склонившись к земле, впервые заметила на исходящей паром проталинке, возле свежего пня, это чудо красоты, это совершеннейшее творение природы — уцелевшую под снегом веточку брусники. Пять-шесть ягодин, до того красных, что даже черных, до того нежных, что сердце разрывалось от боли, глядя на них. Как и всякая перезрелая красота, они рушились при малейшем, даже самом осторожном прикосновении. Их нельзя было рвать, они растекались под пальцами. Но можно было лечь на живот и брать прямо с веточки пересохшими, обветренными губами, осторожно раздавливая языком на нёбе, наслаждаясь каждой в отдельности. Вкус их был непередаваемым. Настоящее старое вино, которое «чем старее, тем сильнее». Разве можно было сравнить этот вкус с кислятиной обычной брусники? Здесь была сладость и упоительный аромат перенесенных страданий, преодоленной зимы. Какое открытие! Первые несколько веточек я объела одна и только после обнаружения третьей во мне проявился человек, и я закричала:

— Галя, Галя! — закричала я потрясенным голосом, — брось топор, скорее сюда! Смотри... Тут златистогрезый виноград.

Да, отлично помню. Именно этими северянинскими «изысками» я обозначила свою находку.

Теперь мы шли в лес не с отчаянием, а с надеждой. Мы уже установили, что растет брусника больше вокруг пеньков, на коч-

ках. И мы находили ее почти ежедневно. Мы всерьез считали и с горячностью убеждали друг друга, что эта ежедневная горсть «живого витамина» здорово укрепила наше здоровье. И голова, вроде, меньше стала кружиться, и разрыхленные цинготные десны стали меньше кровоточить.

Очень поддерживала нас в ту смертельную опасную для нас весну и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того года была Пасха. Несмотря на то, что именно воронежские всерьез, без «туфты» выполняли норму, что на них главным образом и держался производственный план нашего «седьмого километра», Кузен и слушать не стал, когда они начали просить освободить их от работы в первый день праздника.

— Мы вам, гражданин начальник, эту норму потом втрое отработаем, только уважьте...

— Никаких религиозных праздников мы не признаем, и агитацию вы мне тут не разводите! С разводом — в лес! И попробуйте только не работать. Это с вами так в зоне чикаются, акты составляют да опера тревожат. А я с вами и сам управлюсь. Поработочему...

И этот злодей дал своим злоденятам конкретное указание. Мы увидели всё это. Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя: «Нынче Пасха, Пасха, грех работать», их выгнали прикладами. Но, придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои топоры и пилы, степенно расселись на всё еще мерзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры, очевидно, выполняя инструкцию Кузена, приказали им разутся и стать босыми ногами в наледь, в холодную воду, выступившую на поверхности лесного озерка, еще скованного льдом.

Помню, как бесстрашно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино.

— Что вы делаете! — кричала она на стрелков, и голос ее срывался от гнева, — ведь это крестьяне! Как вы смеете восстывать их против советской власти! Жаловаться будем! И на вас управу найдем...

В ответ — угрозы и даже выстрелы в воздух. Не помню уже, сколько часов длилась эта пытка, для религиозниц — физическая, для нас — моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и плача.

Карцер был в ту ночь забит так, что даже стоять было трудно. И тем не менее ночь прошла незаметно. Спорили до самого утра. Как расценивать поведение воронежских? Фанатизм или настоящая человеческая стойкость в отстаивании свободы своей совести? Назвать их безумными или восхищаться ими? И самое главное, волнующее: смогли ли бы мы так?..

Спорили так жарко, что почти полностью забыли о голоде, изнурении, вонючей сырости карцера. Интересней всего, что ни одна из часами стоявших на льду воронежских не заболела. И норму уже на следующий день они выполнили на 120 процентов.

...Некоторые тщетно пытались найти защиту у местного лекаря. Его отношение к медицине отлично укладывалось в слово «коновал», причем не в переносном, а в самом буквальном смысле слова: на воле он работал санитаром на ветеринарном пункте какого-то совхоза. Такие явления в лагерной медицине были нередки.

Жил наш лекпом в «уютной хавирке», примостившейся к одной из стен рубленой избы, в которой обитали вохровцы. Хавирка именовалась «амбулаторией», но вход в нее нашему брату не разрешался. Услышав стук в дверь, лекарь выходил на крыльцо и совал в руки больному градусник. Так и мерили температуру, сидя на лавке возле «амбулатории». Лекарь был абсолютным единомышленником Кузена в отношении к «контрикам». Он тоже «не чикался», относился «по-рабочему». Освобождение от работы давал, начиная с 38 градусов и выше. Все остальные заболевания именовал «туфтой» и «замостыркой». Положенный же ему лимит на освобождение расходовал исключительно на блатнячек, которые расплачивались с ним то продуктами, заработанными у вохровцев, то натурой, т. к. хотя лекпому было уже около пятидесяти, он оставался еще вполне бравым мужчиной.

И все-таки настояще спасение пришло ко мне от медицины. Точнее, меня спас заключенный хирург, ленинградец Василий Ионович Петухов, приехавший к нам на седьмой вместе с начальником эльгенской санчасти Кучеренко уже в июне.

— Комиссовка! Комиссовка! — радостным благовестом повторялось кругом в этот день. «Комиссовка» — для некоторых перевод на вожделенную «работу в помещении». Для других перевод в ОПЭ, т. е. оздоровительный пункт, что, в свою очередь, означает возвращение в эльгенскую зону, которая, по сравнению с лесоповалом, кажется землей обетованной. Этот же перевод означает

также недели две-три отдыха, пайку без работы и «усиленную» баланду. Но даже и для тех, кто остается здесь, после комиссовки будет облегчение. Ведь комиссовки бывают неспроста, а именно тогда, когда «падеж» зека превысил установленные нормы, когда в интересах производства рабочую скотинку надо немного подкормить.

И мне опять повезло. Кучеренко, начальник санчасти, с ученым видом знатока ощупав мои «мослы», вдруг вышел из амбулатории, и я осталась наедине с доктором Петуховым. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. На фоне лекромовской «хавирки» с топчаном, заваленным взбитыми подушечками, с веерами «художественных открыток» на стенах, я увидела умное интеллигентное лицо настоящего врача. Оно воспринималось как сигнал из навеки оставленного разумного мира.

— Не ленинградка? — пользуясь моментом, тихонько спрашивает он.

— Нет. Но там, в Ленинграде, сейчас мой старший сын. У родных.

Через минуту выясняется, что мой ленинградский родственник доктор Федоров, тоже хирург, отлично знаком Петухову:

— Позвольте... Мальчик, лет 12-13? Алеша, да? Так я его видел с Петуховым. В начале 38-го... Перед самым моим арестом. Да, действительно, у него ваши глаза.

Я смеюсь и плачу, мне хочется обнять этого незнакомого человека. Он мне сейчас ближе всех на свете. Он видел моего Алешу! Всего два года назад! А я не видела своих детей уже больше трех лет...

— Я спасу вас, — решительно говорит доктор. — Что за чушь! Конечно, честно. Сравните себя хотя бы с местным медиком. А вы будете добро людям делать. Своим людям. По-латыни читаете, конечно? Ну и все. На Кучеренко это производит неизгладимое впечатление. Ждите вызова в зону.

Он выписал мне освобождение от работы на три дня с диагнозом «алIMENTарная дистрофия». Я испытывала волшебное счастье — лежать в пустом бараке на нарах с книжкой в руках. Да, с книжкой. Ее дала мне блатячка Лёлька. Достала у вохровцев. Она симпатизировала мне и знала, чем потешить. Это был школьный учебник для пятого класса. Видно, они учились в заочной школе, наши злоденята.

«Боги жили на Олимпе, — читала я и перечитывала. — Они пили нектар и ели амброзию...» Какое счастье лежать! Не пилить!

Видеть, что из букв по-прежнему складываются слова. Пили некоторые... Он, конечно, напоминал подснежную брускину. А вот амброзия? Какова она была на вкус? Наверно, вроде жареной картошки...

К концу второго дня блаженства моего я услышала треск прибывшего из зоны трактора.

— С вещами!

Вот где диалектика! На этот раз эти зловещие слова прозвучали благовестом. Ведь мы, вызванные, знали, что уезжаем с седьмого, с лесоповала, от Кузена...

— Ты в деткомбинат едешь. Медсестрой к детишкам, — добродушно сказал мне молоденький конвой, приехавший за нами. Я готова была поцеловать его.

По дороге наш прицеп отцепился от трактора и перевернулся в ледяную, несмотря на июнь, протоку. Но разве это могло иметь значение? Ведь я всё-таки опять удачно бежала от Смерти.

*Конец второй части*

Юрий Галансков

## *Справедливости окровавленные уста*

*Поэма*

1

Я, прошедший сквозь все века,  
предвидя итог лет,  
ночью  
из тайника  
вытаскиваю пистолет.

Я, пацифист-мятежник,  
который  
мудр и красив, как Пророк,  
вдруг опускаю штору  
и палец кладу на курок.

Кровавым гимном гореть  
в дымной заре — скорей!

Всё равно я безумный олень  
среди двуногих зверей.

Всё равно в порнографии душ  
истлела надежды звезда.

И пути всё равно не ведут  
туда,  
где так гениально дано:

земле разбудить зерно,  
ростку темноту пробуравить,  
зеленые руки расправить,  
душистую выставить чашу,  
и алчную мудрость вашу  
просто и во плоти  
в ягоду воплотить.

Но хватит играть в слова,  
в висок упирается ствол...  
И рухнула голова  
на зеленый стол.

## 2

Окровавленный скальпель роняя на пол,  
уже не в силах себя разогнуть,  
застынет врач вопросительным знаком,  
увидев огромное,  
во всю грудь —  
сердце.

Собой овладев на мгновение,  
вдруг  
выдавит он: «А легкие где ж?  
Сердце!  
И лишь лепестками вокруг —  
бледные личики мертвых надежд...»

Это было последнее тело — квартира,  
где жило сердце,  
щедро увенчанное  
извечною жаждой несчастного мира  
утверждения надежд человечества.

Мир обречен! К бездыханному телу  
явитесь вы  
и уставитесь тупо.  
Но что же вы будете делать  
с собственным трупом?!

Рвать, бесноваться, смеяться  
или  
рыдать, к погребению готовясь.  
Интересно, в какой могиле  
вы зароете вашу совесть?  
И нечего траурный марш трубить,  
сомкнувшись черным кольцом.  
Я поднимаюсь,  
меня не убить  
ни подлостью, ни свинцом.

Зло в этом мире давно зачем-то, но  
слушайте совесть и верьте ей —  
законами духа и тела начертано  
мне в этой жизни бессмертие.  
Просто я вас забавляю словами.  
Измученный насмерть, я просто устал  
нести в себе  
разбитые вами  
справедливости окровавленные уста.

## 3

Отныне истиной будет:  
законы добра поправ,  
победитель всегда неправ,  
и его непременно осудят.

Ваша сила смертельно опасна,  
ваши мысли преступно хитры,  
вы друг друга кусаете зря,  
истощая себя ежечасно.

На лысине площади нет ни травинки,  
в черепе кружат слепни идей,  
и волчьих ягод кровинки  
сочатся из тела людей.

## 4

Твоя борьба,  
твое сраженье,  
твое преступное участие  
обречено на пораженье,  
на катастрофу,  
на несчастье.

Я жгу знамена,  
я меняю  
возвзванья, марши и мятежность  
на золото и зелень мая,  
на человеческую нежность.

Я рвусь сквозь мертвый пласт гудрона  
в обитель ливней и лучей.  
Все, до последнего, — патроны  
я брошу к трону палачей.  
Да-да, всё так,  
но не в пустыню  
смиренным иноком уйду —  
я буду здесь  
и здесь отныне  
иную битву поведу.

Война — войне!  
Зови любить,  
разбить в мозгах замки оков,  
казармы зернами бомбить  
и сеять стрелы васильков.

На этот бой меня веди,  
мой справедливый честный Бог,  
или зачем в моей груди  
Ты свой огонь зажег.

## 5

Будет день!  
Города и заводы  
задохнутся от стали и стона.

Развращенные ложью народы  
вдруг увидят наши знамена.  
Купол неба с грохотом треснет,  
обнажив золотые вены,  
и ливнями наших песен  
наполнится воздух мгновенно.

Станут сказки апостолов былью,  
вами попранные в гордыне.  
Они будут шрифтом извилин  
напечатаны в каждом отныне.  
И как прежде, страстями объятый,  
будет мир неустанно искать...  
но только не в горле брата  
львиную долю куска.

# Воспоминания

Иосиф Шейн

## Последние дни Соломона Михоэльса

(К 20-ой годовщине смерти)

Автор этого очерка Иосиф Шейн обучался театральному искусству в Москве, в Студии Еврейского театра, которой руководил Соломон Михоэльс, и в академии им. Линчевского. После получения диплома, он начал свою режиссерскую деятельность в Москве, затем в одной из Балтийских стран. В 1954 году он получил Знак Почета Советского Правительства за достижения в области театра. Иосиф Шейн сотрудничал с Михоэльсом до последних дней его трагической смерти. По прибытии в Израиль он сразу был приглашен в театр «Габим» для постановки пьес «Деревья умирают стоя» и «Дядя Ваня». В театре «Оэль» онставил пьесу «Филимона».

ЯНВАРЬ, 1948 ГОД

Над Москвой стоял мороз, насыщенный туманом воздух поднимался с улиц, скверов и аллей.

Площадь Маяковского возле Концертного зала им. Чайковского, где я условился встретиться с моей приятельницей, была особенно оживлена: скрипачи, кларнетисты, виолончелисты спешили на репетицию. Вечером они выступают с большим симфоническим концертом. В программе: Бетховен, Григ, Чайковский. Дирижер: Натаан Рахлин. Солисты: Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс.

11 ЧАСОВ ДНЯ

У артистического входа пусто. Моя приятельница не пришла. Что случилось?

Ответ пришел не сразу. Придушенным голосом она мне сообщила:

— Я спешу к Толечке. Михоэльс погиб.

— Как? Где? Когда это случилось? — Дальнейшие вопросы были излишни. Я выбежал из телефонной будки. Кто-то обратил на меня внимание. Мой вид ему, очевидно, не понравился.

Сыпал снег, и ветер подхватывал его и швырял в лицо.

В ушах все еще звенело: Михоэльс погиб.

Михоэльс — организатор жизни, энергий, сил — лежит где-то далеко от Москвы мертвый? И почему моя приятельница предупреждает, что не нужно, нельзя говорить об этом?

Двери метро широко раскрыты. Десятки людей, толкаясь, спешат спуститься по эскалаторам к поездам. Они спешат, подгоняя морозом, отряхивая снег, растирая уши и лица, чтобы немного согреться.

Я шел по широкой Садовой улице к Малой Бронной. Там, в театре, среди актеров можно будет узнать подробности. Широкая Садовая улица ведет к Козихинскому переулку, а там уже близко и Малая Бронная, где находится Московский Государственный Еврейский Театр. Я шагал сквозь ветер и снег. Трудно было различать лица прохожих. Люди боялись сталкиваться с кем-нибудь лицом к лицу. Лучше не знать и не видеть незнакомого прохожего. Так безопаснее, вернее... Перед моими глазами стоял Соломон Михоэльс, с которым я недавно встречался. Это было 2-3 недели назад, перед его отъездом в Минск. У него в кабинете на Малой Бронной, откуда можно было попасть за кулисы театра, где ежедневно кипела театральная жизнь, он сидел усталый, задумчивый.

В коридоре, возле приемной, сидело несколько пожилых женщин, молодой человек — актер русского театра — и солдат. Они, как и многие другие, пришли за советом, за помощью к Соломону Михайловичу Михоэльсу, депутату Московского Совета.

Первые годы после войны были полны забот о десятках тысяч возвращенных из эвакуации и с фронта евреев. Им предстояло начинать все сначала: возвращать захваченные квартиры, устраиваться на работу. Михоэльс положил много труда и отдал много времени этим людям. Он обивал пороги комитетов, министерств, райсоветов для того, чтобы добиться положительного ответа на заявления и просьбы своих избирателей.

Когда мой товарищ и я вошли в кабинет, Михоэльс был занят телефонным разговором.

— Имя, отчество, фамилия? Александр Давидович Мильнер?.. У нас записано — Аврум Давидович, это согласно паспорту... Разве это имеет значение для поступления в университет?

— Михоэльс был в возбужденном состоянии. Он задержал трубку и посмотрел на нее, точно видел человека, с которым разговаривал. Мы не хотели мешать ему нашими разговорами. Мы ведь его ученики. Свои.

— Садитесь, ребята.

Он опустил свое большое лицо со лбом Сократа на обе руки с короткими широкими пальцами, которые умели передавать любые переживания. Этими руками он часто больше говорил, нежели словами. Его глубокие, темные, умные глаза куда-то смотрели. Он был углублен в свои мысли.

— Вы понимаете, это уже не случайность, это становится системой. Одну не пускают в ее квартиру. Ибо она прибыла из Ташкента, где «пряталась» от войны. «Ваши» сидели в Ташкенте, когда мы боролись, — так они рассуждают, — вот и сидите там...» Того не принимают на работу без всяких оснований. Перед этим закрыты двери университета. Куда мы идем?

Он встал и прошел к окну. На дворе у стены стояла часть декораций. О, он их отлично знает. Это — декорации из пьесы «Фрейлихс». Его режиссура. Нам всем понравилась мысль, которую он воплотил в эту постановку: через пытки и отчаяние, через слезы и жертвы — к новой жизни. К возрождению. С пением и танцами, подчеркивая, что мы еще существуем, что народ нельзя уничтожить. Да здравствует народ Израиля! Беньямин Зускин, в роли Бадхена, прекрасно это передает. Но те, кто раньше его хвалил, кто присудил ему Сталинскую премию, теперь обходят его, отклоняют его просьбы. Открыто они этого не выражают. Народному артисту Советского Союза, но и художнику, дана здоровая интуиция. Он чувствует, что скрываются под громкими словами и двусмысленными улыбками.

Он читает правку. Без интуиции трудно понимать и создавать образы, рисовать картины, писать книги.

Чувства и мысли их по отношению к нам нечисты. Откуда это идет? От толпы или от верхушки?

— Соломон Михайлович, вы, вероятно, чувствуете себя нехорошо. Вы выглядите утомленным и грустным. Мы вас навестим в другой раз.

— Нет, нет, это не долго продлится. Я все равно жду Давида Бергельсона. Мне кажется, что второй акт нужно основательно изменить.

И, вспомнив наш прежний разговор, он, выпятив нижнюю губу и грустно улыбнувшись, сказал:

— Они хотят, чтобы я поехал в Минск посмотреть несколько

постановок, отобранных для Сталинской премии. Да, я в последнее время чувствую себя плохо. Уже третий раз я откладываю эту поездку. Анастасия Павловна хочет меня сопровождать. Зачем отрывать ее от работы и в такие морозы таскать с собой? Сегодня снова звонили. Они обещают наилучшие условия. Театральные коллективы ждут с нетерпением. Дальше откладывать невозможно. Нужно ехать. Надо позвать Голубова.

Голубов-Потапов — театральный критик, уже приобретший известность в те годы своей книгой о балерине Улановой. Как специалист и знаток балета он должен был ехать вместе с Михоэльсом, чтобы просмотреть несколько спектаклей в Минском театре Оперы и Балета.

Михоэльс не мог дозвониться до Голубова, никто не отвечал на его звонки.

— Соломон Михайлович! — сказал я. — Я пришел со своим товарищем Мандельбойтом, который делал в Тбилиси свою постановку перед Государственной комиссией для получения звания режиссера. Он хочет, чтобы вы просмотрели эскизы, рецензии и высказали свое мнение.

Мой товарищ выложил все на письменный стол. Михоэльс просмотрел эскизы и сказал:

— Вы должны работать у них, впитать в себя лучшее из их культуры и искусства и принести это все к нам. Вы никогда не забудете свой родной язык и происхождение, как бы долго вы ни были вне вашего театра.

Зазвонил телефон.

— Да, да, Настенька, я уже иду. Я не задержусь. Скоро придет Бергельсон, и мы оба придем...

Мы попрощались. Было приятно ощущать пожатие его крепкой руки. В коридоре стояла его секретарша и ждала указаний на после обеда и на завтрашнее утро. Она хотела показать ему список посетителей на завтра.

Нет, завтра утром он репетирует и будет принимать послезавтра с 4 до 7.

В конце коридора показался Чечик с желтым лицом и пепельно-серыми волосами. Он молча проводит Михоэльса на Тверской бульвар, до его квартиры. По дороге он напомнит ему об очередной встрече, о которой Михоэльс может позабыть: в ВТО (Всесоюзное Театральное Общество) или в Клубе ЦДК. А ему нужно встретиться с русскими артистами — Тархановым, Симоновым и Образцовым...

## \*

А вот и театр. Из рекламных окон изъяты доски, на которых всегда значились анонсы постановок. Вместо них: «Сегодня 14 и завтра 15 ввиду смерти Михоэльса постановка «Фрейлихс» не состоится».

Это объявление выглядело из-за железной сетки, как пленник из-за тюремной решетки.

Тот самый двор. Тот же вход на частые ступеньки, которые я так хорошо знал.

Я не думал, что та беседа будет последней беседой с Михоэльсом. Открытые двери. Никто не спрашивает, кто вы и что вам здесь нужно. Все выглядят так, как будто хозяин в попыхах ушел и забыл запереть дом.

По коридору пробежал Беньямин Зускин. В его фигуре растерянность и возбуждение. Он никак не может сосредоточиться, не может постичь того, что произошло. Он повторяет это перед каждым, в поисках ответа на трагическую загадку. Проходя мимо меня, он сунул руку в мою, бросил тот же вопрос:

— Ну, что ты скажешь! Такое дело... такое несчастье!.. — и, не ожидая ответа, исчез в одной из комнат длинного коридора. Прислонившись к стене, в разных местах стояли артисты. Большинство молчало. Удар обрушился так неожиданно, что люди никак не могли прийти в себя. В глазах затаился страх. Страх перед сегодняшним днем и еще больше — перед завтрашним. Болезненный вопрос тяжело ворочался в душе: без Михоэльса — как мы будем существовать?

Михоэльс стоял во главе коллектива. Он представлял собой театр. В этом были его величие и слабость театра.

Он часто высказывал свою мысль, чистосердечно и с беспокойством:

— Когда меня не будет, что будет с вами? Вы ведь пропадете...

Однако он не сделал ничего, чтобы предупредить это. Прекрасный актер Беньямин Зускин слишком отдавался миру чистого театрального искусства. Артист глубокой интуиции, он создал гениальные образы: свата Соловейчика («200 тысяч»), Баба-Сендера («Путешествие Вениамина Третьего»), Шута («Король Лир»). Но Зускину недоставало организаторских способностей, какими был наделен Михоэльс. Не хватало сил и умения разрешать административные вопросы, возникавшие в таком сложном организме, каким был Московский Государственный Еврей-

ский Театр. Теперь это поняли все. Это пугало и туманило завтрашний день.

Время уже было после пяти. На московские улицы опустилась ночь. Твердо утрамбованный, лежал снег. О том, что каждый чувствовал и переживал, большинство избегало говорить.

Ступеньки, ведущие к партеру и балкону, к трем залам и фойе, были переполнены. (Вход в театральный зал был заперт.) Здесь были театральные деятели, музыканты, писатели. Их пропустили через строгий контроль, по специальному разрешению. Вначале всё это происходило хаотически. Но вскоре нашлась рука организатора, которая все урегулировала. Позади театра осталась толпа. Среди них — знаменитые артисты, хорошие друзья и поклонники Михоэльса.

Вот ходит взад и вперед Михаил Тарханов, один из старейших и способнейших актеров русской сцены, артист, украшающий своей игрой каждый спектакль в Московском Художественном Театре. Он тихонько спрашивает, когда привезут тело Соломона Михайловича Михоэльса.

Тут же ждут артисты Климов и Симонов.

Сергей Образцов взобрался на ступеньки. Его великое искусство оживлять куклы и награждать их душой и глубокими мыслями знакомо всей России. Он любит Михоэльса за глубину его мышления, за его умение заставлять руки разговаривать на сцене. Он только сейчас узнал, что Михоэльса уже нет. Его под руку взяла Серафима Бирман. Ей нужно с кем-нибудь поделиться своим горем. Но она должна это делать осторожно. Где-то в углу стоят «незнакомые»...

У входа в зал, где висит портрет Михоэльса, стоит Нестор. Он всматривается в его портрет с таким выражением, будто ему всё ясно. «Все это направлено против нас. Смерть Михоэльса — это только начало», — так, по-видимому, думает старый Нестор.

Над всеми возвышается голова Переца Маркиша. Для него Михоэльс был родным. Не раз они спорили меж собой. Михоэльс был диктатором. Оба они — незаурядные личности. Взаимные любовь и уважение не имели границ. Теперь он стоит с опущенной головой. Он избегает разговаривать с людьми. Что он может сказать? Никто не верит сообщению в «Правде», что грузовая машина переехала сразу двух человек — Михоэльса и его друга Голубова-Потапова.

Сквозь толпу пробилась Алла Тарасова, подлинно русская красавица. Гордая и уверенная в себе, она шла в большой зал про-

щаться с Соломоном. Он был близок ей, этот Соломон. Она помнит, как глубоко и оригинально анализировал он Анну Каренину, когда Художественный театр работал над постановкой и Тарасовой была поручена роль Анны. Сколько часов просиживала она с Соломоном. Двери большого зала еще закрыты. «Что? Его еще не привезли?» — спрашивает она то у одного, то у другого.

Внизу, у лестницы, стоит Александр Фадеев. Он — председатель Союза советских писателей — знает, вероятно, больше других... Завтра на похоронах он будет говорить. Он скажет, какая тяжелая потеря для всей советской культуры — смерть Михоэльса.

Часы пробили семь. К тротуару подъехала машина. Его привезли! На ступеньках стоит Беньямин Зускин. Волосы его расстрепаны. Он бежит к верхнему фойе. Все глаза устремлены к белым мраморным ступеням.

Черный гроб несут шесть человек. Они торопятся. Создается впечатление, что с этим делом хотят покончить как можно скорее. Гроб велик. Заметно, что его готовили в спешке. Не зная, кому он предназначен. Это был «спецзаказ». Гроб сопровождает профессор Збарский. Тот самый Збарский, которому известно искусство бальзамирования, на котором лежит ответственность сохранять для потомства Ленина.

Еврей Збарский хорошо знал умершего. Он был частым гостем у Михоэльса в доме. Теперь его уполномочили собрать воедино все его искусство и знания для того, чтобы привести лицо Михоэльса в такой вид, чтобы его можно было открыть взорам десятков тысяч людей, пришедших на его похороны. Збарский несет в руках небольшой деревянный ящичек, похожий на грифировальную коробку. «Он его загrimирует. Но, по-видимому, это продолжится долго», — шепчутся люди.

На лестницах снова показался Зускин. При работе профессора Збарского просили присутствовать и его. Медленно тянется время. Уже прошло полчаса, а профессор всё еще работает. Где-то за кулисами, вдали от толпы, группками собирались артисты театра. Обрушившееся на них несчастье они хотят пережить вместе, в своей тесной семье. Кто-то нагибается ко мне и шепчет что-то. Это — Зускин. Я иду с ним за кулисы, чтобы попрощаться с Михоэльсом.

В черном костюме, на возвышенности, лежит Соломон Михоэльс. Мертвое лицо его напряжено. Кажется, вот-вот он что-то скажет. Тесным кругом, вокруг гроба, стояла вся еврейская труп-

па. Один из старейших членов труппы — Рахиль Ром оплакивает своего учителя и партнера по сцене.

Она распостерла руки, обняла его широкие плечи и с рыданием положила голову на его грудь. Никто не посмел отнять ее от покойного.

Сарра Ротбаум, одна из лучших и талантливейших актрис из коллектива Михоэльса, смотрела в его лицо, будто хотела что-то прочесть или услышать его последнее слово. Мужчины пробовали заглушать рыдания, которые рвались из груди.

Сейчас раскроются двери.

Шидло и Гертнер подошли к Зускину и что-то ему шепнули. Зускин наклонился к Рахили Ром и отвел ее от умершего.

— Помните, мы — коллектив, и мы должны существовать дальше, — тихо сказал Зускин.

Дали дорогу двум дочерям Михоэльса. Они подошли к гробу. Их сопровождала мачеха — Анастасия Павловна Потоцкая. Для них принесли стулья. Артисты театра стали по обеим сторонам гроба. Двери широко раскрылись. Без спешки люди потянулись к покойнику. Вот вошел Михаил Тарханов. Он приложил свою руку к руке усопшего. Среди тех, которые пришли отдать последний долг Михоэльсу, были люди, которые прошли с ним вместе тяжелые 1936-1937 годы. Они помнят его выступления на 1-ом Всероссийском съезде режиссеров, когда арестовывали художников, ликвидировали театры. В те годы исчез Мейерхольд, со своим театром. Алексей Попов, Александр Завадский, А. Тайров, Рубен Симонов, Иван Берсенев, Алексей Дикий — все они пришли сюда. Алла Тарасова не уходит. Она стоит и ее губы что-то шепчут.

— Смотрите, его пальцы сжаты в кулаки, его нижняя губа выпячена вперед.

— Так выглядит мертвая маска Бетховена, — сказал кто-то.

Я смотрю на красивую Тарасову и вспоминаю последний официальный прием в Кремле, у Сталина, где она встретилась с Михоэльсом. Лишь месяц назад Зускин рассказывал об этом актерам.

За длинным, богато сервированным столом сидели члены Политбюро, министры, маршалы и генералы. «Отец народов» был в хорошем настроении. Главная беседа исходила из того места, где сидел Stalin.

Вдруг встал Соломон Михайлович.

— Я прошу слова.

Кто-то подошел к нему, взял его за руку, и оба они вышли

в другой зал. Его спасли из положения, которое могло кончиться для него трагически...

Мимо гроба проходил народ. Его народ, который он так любил и для которого творил. Пожилые еврейские женщины, которых редко можно встретить на московских улицах, женщины с детьми на руках, старики и школьники.

— За что это они тебя? — пробормотала одна старушка, проходя мимо его гроба.

Всем было ясно, что исполнители убийства и сейчас окружают его. Они стоят тут, скрежеща зубами, и ждут. Завтра они будут мстить.

До глубокой ночи беспрерывно шел людской поток. Было много русских художников, шли студенты, военные. В два часа ночи двери закрыли.

На утро посещение возобновилось. Прибыли еврейские театральные делегации из других городов: из Минска, Киева, из Черновиц. 16-го января утром театр оказался оцеплен милицией. Тех, кто пришел в театр очень рано, пропустили, остальные настолкнулись на милицейскую охрану.

Желание попасть в театр было настолько велико, что многие, особенно молодежь, лезли через крыши, заборы, искали разные лазейки. Подошел к милицейскому отряду, вместе с кинорежиссером Михаилом Роммом, Илья Эренбург. Молодой милиционер задержал их.

— Граждане, дальнейший вход запрещен.

— Мы пришли на похороны.

— Есть приказ не пропускать.

— Я — писатель. Илья Эренбург.

Подошел офицер милиции. Эренбург представился ему и показал профсоюзную книжку. Офицер пропустил его. Большая толпа ждала на Малой Бронной. Прибыла траурная машина из московского крематория. День похорон Михоэльса стал траурным днем российского еврейства.

В Траурном зале крематория выступали: Александр Фадеев, председатель всеславянского комитета генерал-лейтенант Гундарев, Беньямин Зускин, Ицик Фефер; режиссеры: Александр Таиров, Константин Зубов и другие.

Я чувствовал, что тайный вдохновитель убийства глядел на этот траурный парад.

— Да. Всё идет, как было намечено.

С честью предали земле прах великого народного артиста Соломона Михоэльса.

Соломон Михоэльс имел в себе нечто такое, что магнитически притягивало к нему каждого, кто хоть один раз его видел. Его лицо обладало оригинальными чертами, которые редко можно встретить. Лицо, которое никогда не забудешь; сократов лоб, глубокие глаза, умевшие говорить, как и руки, и выпиравшая губа придавали лицу энергию и откровенность.

Главным для него в искусстве была — мысль. Чем больше опыта и знаний имеет художник, тем остree и выпуклее он может выразить свои мысли.

— Вы должны знать всё, что творится вокруг вас, — наставлял он своих учеников и актеров. — Каждый вечер, перед тем как я закрываю глаза, я обдумываю прожитый мной день, и я отдаю себе отчет, чего я достиг для себя за день. Если я духовно не разбогател, значит, я стал беднее. Я никогда не остаюсь наедине с собою. Моя любимая игра — посадить вокруг стола известных героев из пьес и вести с ними беседу, слушать, что они говорят. Я люблю беседовать с Гамлетом, Фаустом, Евгением Онегиным, Тевье-Молочником, Дон Кихотом и другими.

Соломон Михоэльс сознавал себя представителем народа, давшего миру великих мыслителей и художников. Он гордился еврейской историей и литературой. Но этим он не ограничивался. Он любил Шолом-Алейхема и Гоголя. Ему был близок И. Л. Перец, и он очень любил Толстого. Вспоминаю, с каким творческим вдохновением он ставил «Суламифь». В «Суламифи» Самуила Галкина (по Гольдфадену) мы впервые увидели на сцене «Госета» еврейского пастуха, еврейского воина, героя Авессалома и молодую, черноглазую Суламифь. Из пьесы «Ночь на старом рынке» были выброшены нищая сумма, из «Путешествия Вениамина Третьего» — посох странника. Их место заняли героические типы евреев. Это — пастухи в «Суламифи», воины в «Бар-Кохбе», обрабатывающие землю еврейские крестьяне из Биробиджана, в пьесе Переца Маркиша «Семья Овадис».

И он — создатель и инициатор новой линии в еврейском советском искусстве — будто сам выпрямился. Борьба Михоэльса с гениальным русским режиссером, актером и теоретиком Станиславским была также борьбой и с теми, кто неправильно истолковывал эту систему.

Помню мое посещение Михоэльса в 1945 году, после окончания театральной академии.

— Соломон Михайлович, я пришел к вам с дипломом режиссера.

— Анастасия!

Никто не отозвался. Он быстро встал, подошел к шкафчику и поставил на стол поллитра перцовки. Молча он налил мне полный стакан.

— Пей!

— Это слишком много.

— Какой же ты режиссер, если тебя пугает стакан перцовки!

Я залпом выпил. Михоэльс огляделся вокруг и налил себе полстакана. Он поздравил меня с окончанием театральной академии и выпил.

— Какие спектакли ты видел в последнее время?

— «Три сестры» в МХАТе... Честная постановка. Буквально симфония человеческих чувств и переживаний. Вот уже несколько дней, как я под впечатлением этой постановки.

Он задумался.

— А «Тевье» тебе не нравится?

— «Тевье» мне нравится, но нет ансамбля, нет высокой культуры у всех играющих.

— Станиславский идет отсюда (жест в сторону сердца), а я иду отсюда (жест с указанием на лоб).

— Но в «Тевье» — лучшее, когда вы забываете про контроль и оставляете своего героя жить полнокровной, эмоциональной жизнью.

— Это лишь отдельные моменты, которые вырываются помимо моей воли. Остальное все продумано — каждое движение, каждая интонация.

— Я это заметил, когда вы играете Короля Лира.

— Вы все неверно понимаете Станиславского. Вы делаете его примерным натуралистом. Реализм Станиславского дошел до символа. Возьми его героев: доктор Штокман, старый генерал Крутицкий. Это типы символические. Это не только «я» в данной ситуации. Станиславский всегда мечтал картиною, — сказал Михоэльс, и он передал мне свою беседу с Станиславским в 1937 году, когда Станиславский, уже тяжело больной, спросил его:

— Как вы думаете, с чего начинается у птицы полет?

— Когда птица распластывает свои крылья.

— Нет, — ответил Станиславский, — летать птица должна со свободным и глубоким вздохом, птица вбирает в себя воздух и начинает полет...

— Вот это — Станиславский, — закончил Михоэльс.

Прошла страшная штурмовая война. Погибло шесть миллионов евреев.

Михоэльс сидит расстроенный, разбитый. Возле него — его долголетний партнер Беньямин Зускин.

— С чего начать? Как строить репертуар дальше? Чем утешить наше горе? Нужно доказать, что еврейский народ жив.

«Народ не может погибнуть», — так говорил Михоэльс, когда работал вместе с драматургом Шнеером над пьесой «Фрейлихс». Пьеса была принята восторженно. Сталин подписал ей спектаклю Сталинскую премию. Эта же рука потом подписала ему смертный приговор.

В зимнюю ночь с 12 на 13 января 1948 г. в Минске был зверски убит Соломон Михоэльс. Вместе с ним погиб его товарищ Голубов-Потапов (еврей), известный балетный критик — не смели оставаться свидетели.

13-го, на рассвете, среди развалин, рабочий нашел два трупа, засыпанные снегом.

14-го января 1958 года.

Москва окунулась в туман и снег, как тогда, десять лет тому назад. Метро везло меня в театр-музей имени Бахрушина. Я вошел в красивый особняк, когда-то принадлежавший богачу Бахрушину. Свой дом он преобразовал в музей. Этому музею передали архив Соломона Михоэльса. Я хотел познакомиться с ним. Служащий музея посмотрел на меня и сказал:

— Это невозможно. Весьма печально, но факт: архив сгорел в 1952 году. В отделении, где находились режиссерские экземпляры пьес, вспыхнул пожар... Большая часть сгорела, а другая испортилась от воды. Дочь Михоэльса, на другой день после пожара, собрала сожженные листки.

Меня поразило, что во время этого пожара сгорел архив Михоэльса и А. Таирова. Кроме этого — никаких убытков не было. Как видно, Михоэльс даже после своей смерти беспокоил «их». А теперь всё, что напоминало о его личности, имени, убили вторично. Троллейбус привез меня на площадь Пушкина. Толпа пересекает широкую улицу Горького. Недалеко находится дом ВТО (Всероссийского Театрального Общества). На четвертом этаже, в широком и светлом фойе, украшенном портретами великих театральных деятелей и артистов, в зрительном зале и на сцене часто можно было увидеть Соломона Михоэльса.

Вот висит его портрет.

Моя бывшая сотрудница рассказывает с гордостью и радостью, что в самые тяжелые времена арестов и преследований еврейской культуры им удалось спрятать ценнейшие стенограммы

выступлений Михоэльса, а также магнитофонную ленту, где записано его выступление на съезде режиссеров.

— В недалеком будущем мы выпустим книгу о жизни и творчестве Михоэльса. Над этим работает критик К. Рудницкий, — добавляет она.

Какой-то студент из театрального института просит материала об исполнении Михоэльсом роли «Короля Лира».

— У меня есть для вас очень интересная стенограмма Соломона Михайловича, в которой он рассказывает, как он работал над образом Короля Лира.

Я шел по Тверскому бульвару. Здесь ежедневно гулял Михоэльс. Здесь, под этим деревом, сидел в весенние дни. Может быть, писал здесь стихи, которых никому не показывал?.. Отсюда виден памятник Александру Пушкину.

Женщина на снегу, у пьедестала Пушкина положила букетик свежих цветов.

Поставят ли памятник Михоэльсу? Того памятника, который он оставил после себя, больше уже не существует.

В помещении еврейского театра теперь находится русский театр... сатиры.

*Перевел с идиш И. Томашпольский*

# Литературная критика

В. Крупич

## **Об особенностях поэзии Аполлона Григорьева**

В литературной судьбе Аполлона Александровича Григорьева, наряду с другими многими причинами его непопулярности, большое значение имели неудачные попытки издания его сочинений. Несколько сборников его художественной критики, поэзии и воспоминаний, появлявшихся в разное время, не только не восполняют этого пробела, но нередко даже запутывают проблемы изучения личности и творчества этого незаурядного литератора. Происходит это оттого, что эти выпуски неполны, не систематизированы, — одним словом, во многих отношениях неудовлетворительны. Ясно, что большинство из них к настоящему времени устарели и являются к тому же библиографической редкостью.

И хотя поэзия Ап. Григорьева издавалась чаще, чем его проза и критика, эти поэтические сборники произведений автора по многим, скорее «внешним» причинам не получали достойной оценки и не проникали в широкие читательские круги. Сила печатного слова, особенно в середине девятнадцатого столетия, оказала здесь решающее значение. Поэзия Григорьева выходила в, так сказать, не-григорьевское время. В этой связи необходимо напомнить, что три из пяти сборников поэта вышли уже после революции — в наиболее антигригорьевскую эпоху.

Но даже два первых, дореволюционных издания были выпущены в особенные годы развития русской литературы — неблагоприятные для Григорьева годы. Первое, авторское, издание появилось в печати в период «натуральной школы», которая, как известно, ставила в русской прозе социальную тематику, «критический пафос» — проблемы, получившие в интеллектуально-философской лирике Григорьева совершенно иное идейное пре-ломление. Поэт-новатор во многих отношениях опередил свою эпоху. Именно это и было одной из главнейших причин неудачи

сборника его стихов и переводов, изданного самим автором в 1846 году. Но не меньшей причиной — и опять-таки «внешнего» характера — неудачи проникновения Григорьева в читательские круги была и Первая мировая война, в самый разгар которой было осуществлено второе издание его поэтических произведений. Подготовленное и прокомментированное Александром Блоком, оно известно в истории русской литературы как «блоковское» (1916).

Оставаясь в пределах означенной темы, т. е. не входя в анализ поэзии Григорьева как таковой, ниже я затрону лишь лишь те ее особенности, которые имели прямые идейные связи с общим направлением развития русской литературы. Даже там, где творчество Григорьева, как это имеет место в его поэзии, касается «абстрактных», «метафизических» проблем, оно имеет непосредственное отношение к тогдашней действительности со всеми ее неизбежными идейными противоречиями. Считать по этому поэзию раннего Григорьева лишь «...смесью метафизики и мистицизма», как это думает Я. П. Полонский, — значит не вникать в ее сущность. Впрочем, на это в свое время указал уже Блок.

Из упомянутых пяти сборников поэтических произведений и переводов Аполлона Григорьева новейшим является издание, выпущенное Малой серией в 1966 году (см. «Аполлон Григорьев», Стихотворения и поэмы. Вступ. статья, подг. текста и прим. Б. О. Костелянца... «Советский писатель» М.-Л.). Прежде всего удивляет, что этот сборник появился после подобного же в Большой серии всего через шесть лет. Не считая времени юбилейных лет, когда, в связи с полустолетием смерти критика, мыслителя и поэта, последовали издания его сочинений (1914, 1915, 1916), как, впрочем, и работ о нем, во всей практике публикаций сочинений литератора последний промежуток самый короткий. Известно, например, что первые два сборника были разделены между собою семидесятипятилетним периодом — 1846-1916. Последующие издания поэзии этого автора были разделены не менее, чем двадцатью годами в каждом отдельном случае — 1916-1937-1959. Именно поэтому последнее издание является неожиданным сюрпризом для современного советского читателя. Но самым замечательным в этом сборнике является вступительная статья, вернее, ее отдельные положения.

Необходимо сразу же оговориться: в статье нет ничего особыенного об Аполлоне Григорьеве. Она повторяет уже известные положения о поэте, мыслителе и критике Григорьеве; в ней есть

спорные утверждения и выводы. Но, может быть, впервые в советском литературоведении эта статья указанными положениями выходит за «орбиту» установившейся традиции смотреть на Григорьева глазами Белинского и его последователей «революционных демократов» — Чернышевского, Добролюбова, Писарева и даже гораздо менее значительных их адептов. Именно с нарушением «традиционного» подхода к Григорьеву связаны отдельные места вступительной статьи. Собственно говоря, автор даже и «не нарушил» эту «традицию», он лишь сумел умолчать о ней. И творческая личность забытого литератора предстала в ином, более реальном свете. Даже скромные достижения исследователя, превосходного знатока Григорьева, делают прежние о нем публикации советского периода лишенными какого бы то ни было значения. Исключениями являются лишь изыскания биографического и текстуального характера, но и их в общем-то не так много.

В данной статье солидно аргументировано одно качество творческой личности Аполлона Григорьева — его способность самостоятельно мыслить. Развитие этих положений, затронутых лишь в общем в данной работе, может вывести из застоя и продолжительного кризиса, в котором находится советское григорьеведение уже несколько десятилетий. В этом ее главнейшее значение. Из нее же вычитываются те качества творческой личности критика, о которых или замалчивалось в других работах советских исследователей или же говорилось путано, односторонне и чрезвычайно предвзято. О личности этого деятеля при чтении подобных публикаций у читателя создавалось неясное представление. Автор вступительной статьи Костелянец, вслед за Александром Блоком и вопреки некоторым другим советским исследователям Ап. Григорьева, выдвигает немало аргументов для «реабилитации» несправедливо забытого деятеля русской литературы.

Замечательно, что упомянутая черта — мыслительная самостоятельность — ярко проявляется у Григорьева уже в его университетские годы. И действительно, легко и основательно усваивая науки, Григорьев не становится их «жертвой», как это часто бывало со способными студентами. В этом отношении он — предшественник Блока, умственное развитие которого протекало в подобной же связи с университетом. Кажется, напротив: чем глубже и основательнее Григорьев изучает предмет, тем он, кажется, сильнее ему «сопротивляется», конечно, в творческом

плане. Именно в этом направлении следует рассматривать эволюцию его идейного развития, которую почему-то называют «путаницей во взглядах и стремлениях». При всех своих «увлечениях», при постоянном и напряженном устремлении к теоретическим основам «веяний» времени, при неизбежной противоречивости этих увлечений, Григорьев в своем духовном развитии более последователен, чем, скажем, тот же Белинский. Во всяком случае, он не был ни жертвой, ни слепым адептом каких-либо систем и построений. Совершенно наоборот, платя им «дань», он теоретически же и преодолевал их; его заметки и отзывы об идейных «веяниях» времени не потеряли своего значения и в наше время.

Не трудно обнаружить самое ценное качество, присущее уже молодому поэту и критику, то «свое» в его миропонимании, которое останется исходным положением при столкновении с системами и построениями авторитетов мысли XIX века. Достаточно из этого «своего» указать на учение Григорьева о свободе, о личности как неповторимой самобытности, о значении духовного начала в человеке. Все это несомненно делает его незаурядным мыслителем, и не только своего времени. Подобно Белинскому, Григорьев не был способен остановиться, идейно или интеллектуально застыть на каком-либо отдельном этапе развития мысли, но вопреки своему «старшему современному», он никогда не приспосабливал явления литературы и действительности к своим политическим взглядам. Даже несозвучные Григорьеву системы находили в нем объективного и добросовестного комментатора, изучавшего и постигавшего их теоретические слабости. Считать, таким образом, этого деятеля лишь увлекающимся и «отдающим дань» — по меньшей мере, большое упрощение. Уже давно наступило время разобраться в его, по словам Блока, богатом «...царстве мыслей...»

О сказанном можно судить по способности молодого Григорьева «творчески» постигать слабости теоретических построений французского утопического социализма. Как верный сын своей эпохи Григорьев не прошел мимо этого учения. Но теория Фурье о «космической гармонии» и «государственном романе» нашла в лице молодого литератора не послушного последователя, но весьма строгого судью. Отправной точкой суждений Григорьева было уже упомянутое его мнение о роли человеческой личности в обществе и истории. Признавая и принимая постановку проблемы личности в тогдашнем обществе, Григорьев находит, однако, что

в этом учении умаляется сама природа и творческая особенность личности. Его вывод ясен и бескомпромиссен: фурьеризм, по мнению критика — «...произвольно составленная утопия», казарма или филантропия, равная утопии бюрократов, «самая противная русской душе...» Если вспомнить, что именно эта «утопия» покорила многие русские умы, в том числе и Ф. М. Достоевского, то верность суждений и оценок ее Григорьевым окажутся еще более убедительными.

Но последнее качество критика оказалось поразительным в его отношении к гегельянству. Ведь образно говоря, Гегель подчинил себе не только мыслящих современников Европы, но буквально поработил все поколение русских деятелей знаменательного двадцатилетия. Едва ли, однако, можно найти из всех гегельянцев — русских и иностранных — человека, который смог бы сравниться с Григорьевым силой и глубиной знания этого учения. Григорьев буквально «проштудировал» немецкого философа и потому может с правом знатока говорить о «феноменологии человеческого духа». В данной связи следует, пожалуй, отметить, что в литературе почти не упоминается о кружке, который так и именовался «Аполлон Григорьев». В нем принимали участие такие деятели русской литературы, науки и просвещения как А. А. Фет, Я. П. Полонский, К. Д. Кавелин, И. С. Аксаков, известный впоследствии историк С. М. Соловьев. Именно в этом кружке изучалась философия Гегеля, а его руководителем и идейным авторитетом был сам Григорьев. Важно отметить, что его суждения о гегельянстве не были случайными, основанными на чтении вторых источников, как это нередко имело место в то время.

И в данном случае, для Григорьева личность, ее свобода и творческая основа, стояла в центре его суждений. Критик нашел, что в учении Гегеля личность подавляется общим, коллективным, историей. По его мнению, в чисто логическом мире Гегеля «...нет неисчерпаемого творчества жизни». Замечательно, что Н. А. Бердяев почти дословно повторяет Григорьева в своих оценках Гегеля и его философии.

Даже Шеллинга, который обычно считается «духовным отцом» критика, последний прочитывал по-своему, с постоянными замечаниями и комментариями. Здесь не место вникать в проблему степени этого влияния. Можно лишь попутно заметить, что трудно представить Григорьева иным, без его знакомства с шеллингианством, чем тот, кем он стал после усвоения

этого учения. В немалой степени здесь должна ставиться проблема, по словам критика, о «...параллельных, конгениальных отражениях великого света...» Но оригинальностью Григорьева в этом случае было то, что в то время как на Западе мысль шла за Гегелем, (Фейербах, Маркс), он совершает обратный путь — от Гегеля к Шеллингу. Таким образом, и шеллингианство Григорьева было, по меньшей мере, особенным.

Данное отступление было необходимо для того, чтобы напомнить читателю о том круге идей, которые так или иначе нашли творческое отражение в поэзии молодого Григорьева. В ранних своих стихотворениях на фоне любовных тем поэт разрабатывал новую проблему «страдающей эгоистической личности», широко используя опыт великих предшественников — Пушкина и Лермонтова. Но и здесь тематические заимствования не делают его слепым последователем, подражателем Лермонтова, как это обыкновенно принято считать в критике. «Внешнее» заимствование тем, вернее, их новая трактовка, как уже отмечено выше, продвигала, развивала проблему личности, в решении которой Григорьев не только не следовал своим предшественникам, но почти всегда отличался от них. Если сравнить, например, его драму «Два эгоизма» с «Маскарадом» Лермонтова, то при внешней схожести с последним «демонизм» у Григорьева, так сказать, «социологизируется», т. е. получает вполне конкретное истолкование на материале реальной жизни и сознания общества сороковых годов. Верное замечание Белинского о том, что «пафос Григорьева не столько личен, сколько эгоистичен», по существу касалось лишь отдельных сторон личности, без углубленного толкования тех ее качеств и свойств, которые будут затронуты Достоевским. В этой связи следует отметить, что «аналитический» момент интеллектуального характера вносится в русскую литературу именно Ап. Григорьевым, который проблему личности углублял, ставил ее на гораздо более высокий уровень, чем она понималась, скажем, тем же Белинским. Если для последнего личность понималась в чисто «общественном» плане, то Григорьев развитие, раскрытие личности видел в ее самосовершенствовании, во внутреннем преодолении страстей. Добро, по его мнению, должно восторжествовать над злом (над нестройной природой) в результате внутреннего развития души, а не внешнего ее «оформления»...

В подобном же направлении развивается и заимствование поэтом пушкинских тем. Так, например, стихотворение Пушкина

«Портрет» о несоответствии характера своему окружению (речь идет о гр. Закревской) получает у Григорьева идею-аргумент о разрушительном созидании. Здесь поэт гораздо глубже ставит проблему «космической гармонии» Фурье о разрушительном (творческом) созидании; у Григорьева она получает более серьезное «диалектическое» обоснование. «Кометная» тема, как известно, нашла своеобразное творческое преломление в философской лирике Александра Блока. Что же до вопроса подражательности поэзии Григорьева, то можно указать еще и на то, что «городская» тема Пушкина находит у молодого поэта опять-таки иное осмысление («Да, я люблю его, громадный, гордый град, Но не за то, за что другие...»).

Не отрывая идейного развития России первой половины XIX века от европейской мысли, Ап. Григорьев пытается постигнуть эти явления и в плане единого органического общечеловеческого процесса, имеющего свои исторические и общественные законы. В русскую поэзию он, кроме того, вносит новую тему о противоречиях «внутреннего сознания» личности, преодолеваемых страданием, творческим напряжением самой же «страдающей» личности. Григорьев явился поэтом мысли, эмоции, глубокой интеллектуально-философской лирики русской поэзии сороковых годов. Все это застало тогдашнего читателя неподготовленным для восприятия и понимания именно этой во многом новой поэзии автора.

Первый сборник его поэзии («Стихотворения Аполлона Григорьева») вышел в свет в феврале 1846 года. Многие из стихотворений и переводов, вошедших в данное издание, публиковались в периодической печати Москвы и отчасти Петербурга (авторское издание вышло здесь же). Структура сборника и порядок следования оригинальных стихов в нем обуславливались идейным заданием поэта. В первом разделе — «Гимны» — были помещены переводы Григорьева западноевропейских поэтов — Гердера, Гёте, Шиллера и др. В «Гимнах» — постановка универсальных проблем бытия, радость жизни, во втором — «Разные стихотворения» — дается обоснование, в предполагаемом же третьем отделе — должна была последовать попытка разрешения этих проблем. Но драма «Два эгоизма», которая должна была явиться третьей частью (первоначальное название этой драмы «Современный рок»), была изъята цензурой, несмотря на то, что она была уже опубликована (в «Репертуаре и Пантеоне») год назад. Первый сборник стихов оттого появился в значительно сокращенном виде.

Как и можно было ожидать, критика встретила «Стихотворения...» неодобрительно. Правда, были и сочувственные отзывы, но преобладало осуждение молодого поэта за его «метафизику и мистицизм», как свидетельствовал тот же Я. П. Полонский. Новаторский характер поэзии Григорьева был чужд как реакционной критике, так и «прогрессивной» в лице Белинского. Последний не только не «поддержал» начинавшего поэта, но постарался задать тон всей критике, что Григорьев «вовсе не поэт» (следует, впрочем, заметить, что критик о ранних стихах Некрасова отозвался так же несправедливо сурово), хотя и процитировал те из стихов, в которых, по его мнению, был «социальный протест». Белинский, как известно, в последний период своего идеиного развития требовал от литературы служения потребностям времени; натурализм прозы должен был, по его мнению, дополняться в поэзии «дельной поэзией».

Но самое парадоксальное с оценками Белинского Григорьева-поэта произошло то, что, несмотря на то, что Григорьев созрел позднее, уже после смерти великого критика, суждения его оставались не опровергнутыми. Попытки Блока восстановить поэтическое «лицо» Григорьева, как уже было отмечено выше, не получили дальнейшего развития. В советское время этот литератор попал в «запретную зону» и потому изучался очень мало, к тому же очень односторонне. Впрочем, это признают советские же литературоведы. Оттого-то даже простое умолчание о «традиционном» подходе способствует исследовательскому успеху, как это имеет место в названной статье Б. Костелянца, которая, в сущности, осталась незавершенной. Но даже в таком виде она в значительной степени восстанавливает творческую физиономию забытого поэта.

Несмотря на то, что Григорьев никогда не мог забыть того, что «был обруган Белинским хуже всякого школьника», что его первая книга стихов не получила признания, он как истинный поэт не оставил поэзии и не замолчал надолго, как это произошло с его «выдвиженцем» поэтом Случевским\*), затравленным той же «демократической критикой». Григорьев продолжал писать оригинальные стихи, переводить иностранных авторов, увеличивая число переводов и совершенствуя их качество. Но издать новую книгу поэзии и переводов у автора не было, кажется, намерения.

\*) См. статью Г. Мейера «Неизвестный поэт бессмертия», Границы № 41, 1959 г. — Ред.

И потому не удивительно, что после его смерти стихотворные его произведения были редкостью в тогдашней печати (первое издание вышло очень малым тиражом); и это несмотря на то, что некоторые из стихотворений поэта стали народными песнями. Такое положение продолжалось по существу до 1916 года — времени появления второго по счету сборника поэзии и переводов автора. Предпринятое и выполненное Александром Блоком, оно сыграло немалое значение в «удержании» имени Григорьева в русской литературе.

Хорошо известно, что всю свою творческую жизнь Блок интересовался эстетическими и общелитературными концепциями Ап. Григорьева. В своей поэзии он следовал тематике и философии забытого предшественника. Оттого редактирование сборника стихов поэта было родным делом Блока, а не праздным занятием и не академической обязанностью. «Если меня спросят, — с гордостью замечал Блок, — что я делал во время великой войны, я смогу, однако, ответить, что я делал дело: редактировал Аполлона Григорьева,ставил «Розу и Крест» и писал «Возмездие» (Александр Блок, «Записные книжки», запись от 5 мая 1917 г.). «Я все пишу — статью о Григорьеве. Кажется, никогда так не было трудно, и интересно вместе с тем» (Собр. соч., т. пятый, М.-Л. 1963, стр. 766). Книга «Стихотворения Аполлона Григорьева» под редакцией и со вступительной статьей Блока была событием в русской печати, и не только того времени. Во многих отношениях она является незаменимым источником изучения забытого поэта и для нашего времени.

Кроме достижений издательской техники, данная книга была гораздо более полным изданием, чем первое авторское: в нее вошли не только стихи поэта, написанные после 1846 года, но и те из них, которые не были включены автором в первый сборник. Кроме того, редактору удалось сохранить «лицо» первого издания, т. е. порядок, по словам редактора, «избранный самим поэтом». Несмотря на недостатки, почти неизбежные в подобном начинании, второе издание стихов Григорьева имело большое значение. Вступительная статья и богатые примечания, облегчавшие понимание трудного поэта, намного повышали его ценность. На протяжении следующих двадцати лет (а если быть строже, то и более сорока) оно было единственным в своем роде, знакомя нового читателя, равно как и исследователя, с поэтическим наследием Ап. Григорьева.

Правда, в 1937 году Малая серия «Библиотеки поэта» пред-

ставила советскому читателю поэзию Григорьева, но этот первый пореволюционный опыт был более чем скромным. Творческая психология автора трактовалась здесь очень односторонне, его поэзия — «псевдонародной», «цыганциной», и как подобало в те дни, автор обвинялся в «идеалистическом восприятии мира». Конечно, это — дань времен «культа личности», и понятно, что такой подход не разрешал никаких научных проблем. Значение этого издания — в факте появления: блоковский сборник ведь к этому времени стал библиографической редкостью. Характерно, что в наши дни о выпуске Малой серии не принято говорить, упоминается это издание лишь для счета.

Прошло еще более двадцати лет, и в 1959 году Большая серия выпустила самое полное собрание стихотворных произведений и поэтических переводов Аполлона Григорьева («Аполлон Григорьев», Избранные произведения, «Библиотека поэта», Большая серия, «Советский писатель», Л. 1959). Так как у нас нет данных об отношении современного советского читателя к Григорьеву-поэту, трудно судить об успехе данного издания. Необходимо, однако, отдать должное его редакторам, проделавшим огромную работу, связанную как с подготовкой текста, так и с характеристикой особенностей поэзии Григорьева. В этом отношении вступительная статья П. Громова и обстоятельный комментарий Б. Костелянца нанесли полное поражение всем прежним советским публикациям об этом поэте, как, впрочем, и критике. И хотя автор вступления не смог объективно подойти к оценке поэта, он все же делает попытку ввести читателя в сложный мир идей Григорьева. Реакционность марксистского метода лишает возможности без предвзятых схем и предубеждений подойти к личности и творчеству незаурядного литератора и мыслителя. Это и является причиной незаконченности, незавершенности статьи.

Оценки Белинского, враждебные отзывы о Григорьеве «революционных демократов», закоренелое и чрезвычайно предвзятое отношение к творческому наследию литератора — все это тормозит его объективное изучение. Казалось бы, в литературоведении могли произойти за это время сдвиги. К сожалению, в статьях о Григорьеве новые, смелые и действительно прогрессивные проблемы отсутствуют. Даже такие темы поэта, как «космическая тоска», «влюбленная в вечности», «женщина — сестра», до сих пор как-то замалчиваются исследователями. Григорьев-поэт, теоретик, критик, особенно же мыслитель, представлен неполным,

путанным, каким-то бедным и случайным деятелем русской литературы.

Но неверна и другая тенденция советского литературоведения, наметившаяся в последнее время, — представить Григорьева интеллигентом, «русским пролетарием», «младшим современником Белинского» и в чем-то созвучным советской эпохе. Эти попытки обречены на неудачу, потому что «генеральная линия» литературоведения иная. Она представлена скорее У. Гуральником и П. Громовым. Первый из них смело и прямо заявляет: «Следует сразу же оговориться: речь идет вовсе не о «реабилитации» Григорьева, не о смягчении критики его заблуждений» (У. Гуральник, Литературно-критическое наследие Аполлона Григорьева, «Вопросы литературы», 1964, № 2, стр. 73). Что касается П. Громова, то, следуя все той же установке рассматривать деятелей и явления прошлого с точки зрения современной партийной идеологии, он обвиняет Григорьева в том, что тот «...пытался занять особенную позицию: «возвыситься» над борющимися лагерями, найти некое «среднее», «объединяющее крайности» положение.» («Аполлон Григорьев», Избр. произведения. Большая серия, Ленинград, 1959, стр. 5). Как-то даже неудобно повторять простейшие истины о том, что рассматривать творческую деятельность представителей мысли прошлого с точки зрения требований марксизма настоящего не имеет ничего общего с какой бы то ни было наукой, особенно же с наукой о литературе. Прошлого нельзя ведь менять, а потому и осуждать, как это делают упомянутые литературоведы. Отбирать из прошлого только «созвучное», «соответствующее» — не значит ли обделять и искажать это же прошлое? Кстати, если Гегель в советском литературоведении обвиняется (и верно!) за то, что он в отборе и понимании своего времени видел окончательное решение «судеб наследия», то почему же это обвинение нельзя отнести и к Марксу и его учению (см. «Вопросы литературы», 1967, № 9)? Выше было указано, что «среднее» положение и прочее Григорьев занял не механически и не каким-то нарочитым стремлением «возвыситься», но долгим и мучительным процессом духовной борьбы иисканий. Непонятно и то, почему же и в чем он «заблуждался»!? Ведь следуя этой логике, нужно было бы обвинить почти всех деятелей русской (и мировой) культуры и литературы, но тогда-то именно и станет ясной вся непоследовательность того же марксизма: невозможно будет объяснить возникновение его самого.

Хотелось бы отметить еще две черты, обычно умалчиваемые,

Аполлона Григорьева: его глубокую религиозность и почти подвигническое служение русской литературе. Без учета глубокой и во многих отношениях совершенно «новой» религиозности не понятна вся его деятельность и наконец его житейская драма... При этом весьма характерным для Григорьева было то, что он постоянно «воевал» с официальным православием и критиковал его как духовный «мрак и застой». И второе — обычно замалчивается, что Григорьев — «реакционер», «славянофил», словом, человек «правого» направления, в сущности оборонялся, т. е. ему приходилось защищаться как от официальных кругов, так и от «революционных демократов»; обе стороны нападали на него. По какому-то непостижимому, но и несомненному парадоксу в удущении «чистой мысли» реакционеры справа оказывались солидарными с душителями мысли слева — «революционными демократами».

Возвращаясь к изданию Большой серии, нельзя не отметить самого существенного в нем — опубликования семи стихотворений поэта, которые были извлечены из второго из двух обнаруженных в Центральном государственном архиве альбомов со многими стихотворными текстами Григорьева. Все они относятся ко времени пребывания поэта в Италии, к 1857–1858 гг., и помещены в конце раздела «Стихотворения». Как это вообще принято, в последних сборниках «Библиотеки поэта» соблюдается хронологический принцип. К сожалению, это самое полное собрание поэтических произведений Григорьева не лишено и недостатков технического характера: «прекрасная Италия» (вместо: Венеция стр. 349); стихотворные переводы из Гёте читатель найдет (это относится и к примечаниям о них) страницей на номер выше указанного в содержании.

В Малой серии (изд. 1966), которая является по существу сокращенным переизданием предыдущего сборника Большой серии, перевод эпиграфа из Гёте дается не по Н. Холодковскому, а по Б. Пастернаку как более совершенному.

Установлена (кажется, Б. Егоровым) фамилия подруги Григорьева, Марии Федоровны («устюжской барышни»), она теперь — Дубровская. Нельзя, к сожалению, не отметить и главного недостатка Малой серии — слишком «лаконичного» комментария. Он во многих случаях просто недостаточен и потому не только не помогает читателю, но и запутывает последнего. Но в целом, несмотря на недостатки, указанные выше, последние издания поэзии Григорьева являются несомненным вкладом в дальнейшее

изучение этого литератора. Даже тенденциозные статьи о нем, при наличии его произведений, не смогут умалить его значения. Зрелый и мыслящий читатель сумеет сам разобраться в силах и недостатках теоретических и литературных концепций забытого поэта и критика.

Заключение из всего сказанного выше — ясно. Характер времени и философская глубина уже ранней поэзии автора, а главное, неприятие Григорьева всей демократической и реакционной критикой — все это помешало установлению читательской традиции этого поэта. Григорьев и его творчество остались чуждыми как нигилистически-материалистическим, так и крайне реакционным кругам. И несмотря на то, что некоторые из стихов поэта сделались народными песнями, его имя и главные сочинения были забыты.

Попытка Александра Блока вернуть читателю Григорьева-поэта не достигла своей конечной цели: война, а затем революция помешали этому начинанию. В советское время Григорьев-поэт, как, впрочем, и критик и мыслитель, почти не изучался. Немногие работы о нем (из числа которых упомянутые вступительные статьи к последним изданиям являются наиболее значительными) свидетельствуют о том, что изучение этого литератора все еще остается на дореволюционном уровне. Советский читатель не столько не принимал Григорьева, сколько вообще его не знал. Последние же сборники его поэтических произведений и переводов свидетельствуют о том, что забытый поэт находит своего читателя.

## „Соловьиный сад” Александра Блока

У персидского поэта и философа Саади есть изречение-совет: «Выбирай себе новую жену каждую весну на новый год, потому что прошлогодний календарь уже никуда не годится». Если подойти к этим словам серьезно (а их автор безусловно заслуживает серьезного отношения) и спросить свое читательское сердце, а что же значит, что же хотел поэт сказать, то ответ будет зависеть прежде всего от того, что представляет собою каждый данный читатель.

Один обратит преимущественно внимание на первую часть изречения, истолкует его в эпикурейском смысле и, возможно, даже постарается последовать мудрому совету знатока. Другой же вникнет в смысл обеих половин и всего целого и скажет самому себе: здесь речь идет вовсе не о жене, а о том, что человек должен настолько быстро возрастать духовно, что для него каждый год должен быть как бы новой эрой бытия — «прошлогодний календарь уже никуда не годится». Если бы мудрец сказал — «ибо прошлогодняя жена уже никуда не годится», то толкователь-пошлияк был бы прав. Но речь заходит о календаре, и мы вдруг постигаем, что и грибный совет насчет жены — только иллюстрация, только символ смены календаря. Всю фразу можно было бы развернуть в такое поучение: подобно тому, как многим приятно каждую весну выбирать себе новую жену на новый год, так точно мудрецу должно быть приятно каждый год находить в своей душе столь разительные перемены, что для него как будто начинается новая жизнь, так что прошлогодний календарь уже никуда не годится.

Язык рассудочный — не язык восточного поэта, который выбрасывает целый ряд звеньев: всяких «подобно», «как», «так что», «как будто» и прочее. Читателю некуда торопиться: еще деды переделали все дела. Нам, внукам, осталось только лежать под

пальмой или смоковницей и размышлять над словами мудрого поэта.

«Соловьиный сад» Александра Александровича Блока — веять, над которой тоже стоит помедлить и подумать, хотя бы и не под пальмой и не под палящим солнцем юга, а везде, где в руках читателя окажется томик Блока. И в этой вещи так же, как у восточного поэта, опущены «подобно», «если», «похоже» и тому подобные связки, но тем не менее вся поэма может допускать вполне осмысленное толкование. «Соловьиный сад», на взгляд пишущего эти строки, — не что иное как *поэма об экстазе*, связная и цельная поэма о том, как человеческий дух торжествует над косными силами притяженья и возносится в миры иные, где ему бывает дано слышать «глаголы неизреченные».

Первая песня «Соловьиного сада» повествует о совпадениях, аналогиях, обо всех тех странных явлениях повседневной жизни во времени, перед которыми человек даже и архиматериалистических убеждений разводит руками и которые он обозначает словами «необъяснимое», «стренное», «потустороннее». Таинственный мир постоянно прорывается сквозь плотину косности и плоскости, которой мы окружили хрупкое здание своего рассудка. Нам хочется верить, что все в порядке, что все ясно и просто течет согласно законам природы и логики. Но вот — при некоторых поворотах, в некоторых чем-то схожих между собою случаях тот мир присутствием своим нарушает привычный склад наших позитивных мыслей. «Напев беспокойный», «тихий смех» и «пенье» — вот блоковские символы этого отгороженного от нас стеною, но тем не менее реальнейшего из реальных мира.

Вторая песня продолжает тему первой. Запредельный мир не только живет своею жизнью, но он и нас зовет приобщиться этой жизни. Зовет как идеал, как блаженство, как постоянно нам предносящийся антитезис окружающему нас безысходному страданию:

Не доносятся жизни проклятья  
В этот сад, обнесенный стеной...

Замечательно, что Блок сознательно или бессознательно (скорее верится в то, что сознательно) оттеняет в поэме один любопытный момент, заставляющий нас вспомнить прозрения Платона и неоплатоников: Тот мир не всегда был обособлен от наших душ — нет, души наши некогда жили в нем, созерцали бесплотные первообразы всего, что позднее облеклось в тела, в материю. Душа наша — такая же идея, вечная и первичная, как все про-

чие идеи. Вот почему в себе самой душа не рождает представлений о высшем мире, но только узнает и вспоминает их, то есть находит как бы уже готовыми:

...Только всё неотступнее снится  
Жизнь другая — моя, не моя...

и еще, почти рядом (курсив везде мой. — В. П.):

И в призывающем круженьи и пеньи  
Я забытое что-то ловлю,  
И любить начинаю томленье,  
Недоступность ограды люблю.

Ограда представляется недоступной — иной мир рассудочно непознаваем. Но в третьей песне поэт решительно апеллирует от рассудка к иному средству познания — сердцу, органу интуиции. И то, что запретно для слабого и тщетного Евклидова ума (символом коего, может быть, является осел — терпеливый и трудолюбивый, но в конечном счете не дающий своему хозяину удовлетворения этим трудом), то, что закрыто для наблюдающего и обобщающего рассудка, то — в силу таинственных законов высшей жизни — может во мгновение ока даться в руки ищущему:

...Сердце знает, что гостем желанным  
Буду я в соловьином саду...

И действительно, уже в четвертой песне поэт наглядно рисует нам проникновение ищущего духа в неведомый мир идеальный, красота и самая подлинная реальность которого убедительнее, чем то, что казалось реальным в повседневности:

Чуждый край незнакомого счастья  
Мне открыли объятия те,  
И звенели, спадая, запястья  
Громче, чем в моей нищей мечте.

Наши земные красота, любовь и знание — все это лишь ничтожные, несовершенные копии тех ценностей, которыми обставлен «соловьиный сад» сверхчувственного мира. Это лишь нищие мечты, лишь бесцветные тени того, что в возвышенных пределах оказывается «золотым огнем».

Однако наша душа за некую вину, о которой мы, живя на земле, можем только догадываться, низринута в обитель мрака и пригвождена к кресту материи. Она подобна бумажному змею, который высоко поднимается, но остаться в лазурном море радости не может — он привязан веревкой и должен ниспасть обратно в свою темницу. У Блока символом этой косной, тяжкой силы жизни, символом плотскости показано море. Прилив — это его зов, это закон веса, это шаги времени.

Но, вперяясь во мглу сиротливо,  
Надышаться блаженством спеша,  
Отдаленного шума прилива  
Уж не может не слышать душа.

Так заканчивает поэт пятую песню «Соловьиного сада».

Низинный мир — море, прибой, жалобный крик брошенного осла — унылые символы плохой, огрубелой реальности. Но она, эта реальность, влечет освободившуюся было душу вниз; она, как темница, из которой нам лишь, на время бывает позволено выходить на волю.

Тут же — в шестой песне — Блок как бы мимоходом, вскользьроняет драгоценное слово, опять напоминающее о прозрениях величайших тайновидцев прошлого. Все они отмечали вневременность экстаза, который переживается так остро, что позднее — при попытке воспроизвести пережитые ощущения рассудочно — переживший его не может понять, сколько времени длился экстаз. На своем образно-символическом языке Блок говорит об этом одной краткой фразой:

Я проснулся на мглистом рассвете  
Неизвестно которого дня.

Длилось пребывание души в соловьином саду только несколько дней, или прошли целые века? Экстаз мог занять — по земному, старому календарю — сколько угодно времени. Когда обновленный дух возвращается в свой дольний плен, то он смотрит на мир уже не прежними глазами — «прошлогодний календарь уже никуда не годится». Человек до прозрения и после прозрения — это два разных существа. И за то время, пока дух созерцал прекрасные тайны «соловьиного сада» красоты и любви, могли протечь целые столетья. Именно об этом говорит седь-

мая песня. Юдоль, из которой дух вырвался ввысь, теперь кажется ему еще более тесной и страшной:

Путь знакомый и прежде недлинный  
В это утро кремнист и тяжел.

Да, и для человека, вдвинутого обратно в тесноты после пребывания в просторах блаженного элизиума, все становится иным, чем до воскрыления. И дом, и осел — всё ушло, исчезло, истлело за время (миг или века) его полета. Грубая фактичность этого мира теперь переживается как еще худший, чем тогда, плен (в ней кишат спруты, из глубины карабкается вспугнутый безобразный краб). Со стороны смотреть теперь на другого рабочего, погоняющего осла, — может быть, больнее, чем самому брести таким образом, ибо тогда бескрылому сердцу казалось, что это и есть жизнь и правда, а теперь, после того, как сердце это летало и вновь лишилось крыльев, оно знает, что сегодняшняя действительность, познаваемая чувствами и рассудком — только плен, иллюзия, обольщение, майя...

## РОССИЙСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИЗМУ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

(Конспект)

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА «ФЕНИКС»

Является ли автором настоящего конспекта один из крупнейших отечественных экономистов академик Е. С. Варга, сейчас, после его смерти, установить трудно. Но независимо от этого, данная работа сама по себе представляет объективную ценность. Она является, может быть, первой в истории послереволюционной России попыткой правдивого осмысливания «советской» действительности. В ходе исследования автор умело использует методы исторического, социально-экономического, политического и психологического анализа.

Отмечая в основном правильность критического анализа, некоторые выводы автора все же нельзя считать полностью верными. Например автор пишет:

«Русский путь перехода к социализму» как раз и заключается в том, что, по причине слабости нашей буржуазии, крепко связанной с самодержавно-помещичьим строем, и ввиду их национального банкротства, развитие капитализма в России было прервано в самом начале. Русский народ так и не узнал, не испытал полноценного развития капиталистических отношений. Эти тенденции не получили соответствующего удовлетворения в объективных социальных процессах, но они существовали субъективно внутренне и были подавлены резким переходом к экспроприации частной собственности на средства производства. Русский «буржуазный мир» был «внутри не кончен» и, естественно, он стал постепенно приступать в мире «социалистическом» в той мере, в которой это позволяют ему принципы «социалистического производства и общежития. Возврат к этому миру, конечно, невозможен, но он, загнанный в глубь души советских людей, проявляет себя и создаёт глубокие внутренние препятствия успешному развитию нового общества».

В последнее время некоторые люди ставят вопрос так: в России активно развивается «подпольный капитализм», и процесс идёт в направлении

реставрации капиталистических отношений. Автор «конспекта», наоборот, считает, что возврат к капитализму «невозможен». И если Герцен в 1869 году писал, что «когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнётся с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир», то автор «конспекта» мыслит современное общество России как «новое», которому прежний мир, «загнанный в глубь души» человека, лишь «создаёт глубокие внутренние препятствия».

Итак, в том и другом случае признаётся, что капитализм в России был «прерван» и, как утверждает автор «конспекта», «прерван» по причине слабости нашей буржуазии, крепко спаянной с самодержавно-помещичьим строем, и ввиду их общенационального банкротства. Но данную аргументацию нельзя признать достаточной для объяснения этой «прерванности». Возникает вопрос: почему в недрах изжившего себя самодержавия буржуазия не смогла укрепиться и стать победоносно-сильной, как это было и в других странах? Почему буржуазия не сумела окрепнуть и предотвратить «общенациональное банкротство»? Почему победила именно революция, опрокинув контрреволюцию, интервенцию и фашистскую агрессию? Очевидно, все эти вопросы невозможно объяснить только «слабостью буржуазии», социальной демагогией эсеров и большевиков, войной 1917 года и т. д. Во всех этих победах есть неотвратимая закономерность. И дело не только в марксизме и большевизме. Марксизм и большевизм только грубые рычаги в этом, очевидно, закономерном процессе, который, кстати сказать, имеет международный характер. То положение, в котором оказалась Россия в настоящее время, действительно тяжёлое. Россия рванулась в неизвестное и разодрала себя в кровь. Мы, русские, знаем, как это больно, но пусть отечественные и иностранные респектабельные бургеры не запугивают нас. Свои раны мы будем лечить и залечим любой ценой.

Автор «конспекта» пишет: «Для изменения существующего положения необходим перелом в верхах. Инициативы снизу ждать невозможно. Трудящиеся массы так привыкли к повиновению, что не могут заставить правящие круги взяться за осуществление тех задач, которые в последние годы своей жизни поставил перед советским обществом Ленин».

Мы не знаем, какие задачи поставил Ленин в последние годы своей жизни. Но мы знаем, что Россия сумеет изыскать возможность дать инициативу снизу, чтобы произвести необходимый перелом в верхах. Это для неё жизненно необходимо, и поэтому это неотвратимо. «Трудящиеся массы... так привыкли к повиновению...» — говорят нам. Но мы знаем, что у человечества есть сила, которая сильнее всякой «привычки к повиновению», и эта сила — вечная жажда людей справедливости и братства, под знаменем которой совершились все революции прошлого и свершатся все революции будущего.

1. Когда в 1917 году произошла социальная революция, в корне изменившая всю общественную жизнь страны, она получила определённое теоретическое обоснование, сохраняющее своё официальное значение до настоящего времени. Основные положения такого обоснования следующие: мировой капитализм перешёл в империалистическую стадию своего развития, а эта стадия непосредственно предшествует переходу передовых стран к социалистической формации. Уже началась эпоха мировых войн и proletарских революций; в этом процессе цепь империализма может быть прервана в одной, даже не самой развитой стране. Октябрьская революция есть такой прорыв империалистического фронта; русский пролетариат показал другим, более развитым странам дорогу к социализму.

Со времени Октябрьской революции прошло уже почти 50 лет. Но ни одна передовая страна, действительно вступившая в империалистическую стадию, до сих пор не пошла по пути, указанному Россией. На этот путь стремились страны, которые ещё более отстали в своём социальном развитии, чем Россия в 1917 г. — страны Азии и Африки. Чем же объясняется такое обстоятельство? Верно ли официальное обоснование Октябрьской революции? Для ответа на этот вопрос следует прежде всего напомнить теории революционного развития, создававшиеся крупнейшим идеологом и вождём русского революционного пролетариата В. И. Лениным на протяжении многих лет его деятельности. Надо выяснить, насколько верно намечались в них перспективы национального развития. И вместе с тем надо установить, что же реально происходило в России 1917 г. и в последующие десятилетия и соответствовало ли всё это его теориям.

2. За 10 лет до Октябрьской революции Ленин создал свою «Аграрную программу социал-демократии в первой русской революции» и наметил в ней дальнейшие перспективы революционного развития страны. Социалистическую революцию он мыслил тогда лишь в очень отдалённом будущем. Непосредственно же он оценивал перспективы борьбы двух классовых тенденций в русском буржуазном развитии. Одну из этих тенденций он назвал «прусским или юнкерским» путём, другую — «американским или фермерским» путём развития. Ленин хорошо понимал, что Россия не принадлежала к группе стран «классического развития капитализма», что её капитализм был вообще не очень развит. В самом деле, производство в поместьческих «латифундиях» было так опутано старыми, полукрепостническими отношениями, что раз-

вивалось очень медленно. Либеральное дворянство, в страхе перед крестьянским восстанием, всё более опиралось на самодержавную власть и давно уже растеряло свою былую революционность. «Смести до основания помещичий строй» могли бы угнетённые массы крестьянства, если бы они были способны на решительное и одновременное восстание. Но стихийное восстание не есть еще революция. И Ленин искал в крестьянстве такие силы, которые действительно были бы революционны, т. е. овладевали бы новыми, прогрессивными принципами аграрного производства и обладали бы соответствующим политическим правосознанием. Вместе с тем Ленин понимал, насколько слаба, политически невоспитана, разъединена русская фермерская буржуазия. И он предполагал, что она всё же сможет выполнить революционную задачу свержения самодержавно-помещичьего строя при условии поддержки и руководства со стороны революционного рабочего движения. Основной пафос его «Аграрной программы» заключался в утверждении необходимости национализации всей земли в результате победоносной революции. Лишь национализация всей земли дала бы, по мнению Ленина, возможность быстрой и полной ликвидации всех старых полукрепостнических порядков землевладения и перехода земли в руки новых прогрессивных предпринимателей — фермеров.

3. А вместе с тем Ленин указывал на неизбежность следующего этапа революционно-демократического развития России, на то, что из укрепления капиталистического землевладения новых фермеров сами собой возникнут и их противопролетарские настроения и стремление создать себе привилегию в виде права собственности. Особенно же интересна мысль Ленина о том, что новый раздел земли может быть вызван стремлением новых фермеров «успокоить» (или, проще говоря, придушить) пролетарские и полупролетарские слои, для которых национализация земли будет элементом, разжигающим аппетиты к национализации всего общественного производства. Значит, Ленин считал несвоевременным проявление таких аппетитов со стороны пролетариата на охарактеризованных им стадиях буржуазной революции. А вместе с тем он предполагал такое быстрое развитие фермерской буржуазии, что она могла бы в этом случае «успокоить» пролетариат. Итак, Ленин предполагал в 1907 году своеобразный русский вариант «американского», фермерского пути развития капитализма, на котором рабочий класс приводит к власти новую, прогрессивную сельскую буржуазию; последняя быстро развивает

новый национальный капитализм, свободный от всяких феодальных пережитков, и тогда рабочий класс, возросший и укреплённый в этом процессе, ведёт с новой буржуазией борьбу за переход общества к социализму. Всё это требовало, несомненно, нескольких десятилетий независимого развития России.

4. Как понимал Ленин в 1917 г. перспективы революционной ситуации в России? Он мог бы вернуться к тому пониманию её, какое он намечал в своей «Аграрной программе» 1907 г. Он мог бы понять происходящие события как революцию буржуазную и провозгласить задачей революции организацию «революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». И для этого было бы немало объективных оснований. Революционное правительство национализировало бы землю, и крестьяне получили бы большинство помещичьих земель, и тогда можно было бы начать активное развитие фермерства. Это быстро усилило бы новые тенденции в старых крестьянских партиях (эсеров, трудовиков и т. п.). Большевики могли бы организовать с ними коалиционное правительство. Тогда революция должна была бы бороться с Колчаком и Деникиным, но не должна была бы тратить силы на подавление эсеровских восстаний и кулацких мятежей. Вероятно, и напор интервенции был бы более слабым. Но и тогда в правительственные кругах постоянно боролись бы две тенденции — пролетарская и мелкобуржуазная. Такая «междоусобица» затянула бы революцию на долгие и долгие годы, и это резко ослабило бы Россию перед лицом враждебных ей империалистических государств.

Однако в 1917 г. Ленин мыслил уже иначе. Он понимал теперь русскую революцию как первый революционный сдвиг в интернациональном масштабе, и такое новое понимание заключало в себе немало марксистского доктринерства. Он представлял себе дело так, что мировой капитализм является не только высшим, но и последним этапом развития капитализма, за которым должен последовать период мирового перехода к социализму. Он видел в недовольстве пролетариата воюющих стран и в отдельных вспышках рабочих восстаний симптомы этого переходного периода. И он рассматривал русскую революцию как начало этих начал.

Приехав 3 апреля в Петербург, Ленин с ходу объявил русскую революцию «социалистической». Вскоре в брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции» он писал: «Переход государственной власти к пролетариату будет началом всемирного «про-

рыва фронта» — фронта интересов капитала, и, прорвав этот фронт, пролетариат может избавить человечество от ужасов войны, дать ему блага прочного мира».

И в последующий ряд лет Ленин всё ещё надеялся на мировую социалистическую революцию. Так, даже летом 1920 г. в предисловии к французскому изданию «Империализм как высшая стадия капитализма» он писал: «Империализм есть канун социальной революции пролетариата. Это подтвердилось в 1917 г. во всемирном масштабе».

5. Но ничего подобного не подтвердились на самом деле. Ни в 1920 г., ни в течение последующих 40 лет, до наших дней, ни в одной из стран «классического» капитализма социальная революция не произошла. Надежду здесь можно было бы возлагать на побеждённую Германию, но даже в ней не возникла революционная ситуация. Рабочие восстания были подавлены, вожди революционной части пролетариата — Люксембург и Либкнехт — предательски убиты.

Постепенно осознав всё это, Ленин незадолго до смерти дал Октябрьской революции другое объяснение, более соответствующее действительности. В заметках «О нашей революции», написанных в январе 1923 года, Ленин пытался развить, по сути дела, совершенно новую философию истории современности. Она выражена в очень кратких, не развернутых формулировках, нуждающихся в анализе и разъяснениях. Основу её составляют два положения. Первое: а не мог ли народ, встретивши революционную ситуацию, такую, которая сложилась в империалистическую войну, под влиянием безвыходности своего положения броситься на такую борьбу, которая открывала какие-то шансы ему для завоевания для себя же совсем иных условий для дальнейшего роста цивилизации? И дальше: если для создания социализма требуется определённый уровень культуры, то почему нам нельзя начать с завоевания революционным путём предпосылок для этого уровня, а потом уже, на основе советского строя, двинуться догонять другие народы?

В чём заключалась в 1917 г. для русского народа «безвыходность положения»? Она заключалась не в военных поражениях, не в разрухе и голоде самих по себе, а в том, что старые господствующие классы не имели сил и организованности вывести страну из разрухи и голода. Единственной силой, способной вывести страну из разрухи, был революционный рабочий класс.

Следовательно, Октябрьская революция произошла не пото-

му, что в России был возможен «прорыв всего фронта империализма в мировом масштабе», а в силу своеобразия соотношения классовых сил в русском обществе, зашедшем в тупик разрухи и голода. Русские революционные социал-демократы повели трудящиеся массы по такому пути перехода к социализму, который не был предусмотрен никакими марксистскими теориями и который заключался в том, что прогрессивная демократия отсталой, полуколониальной страны сначала захватывает политическую власть, а потом на этой основе создаёт предпосылки для перехода к социализму.

Второе положение заметок Ленина «О нашей революции» таково: «Россия, стоявшая на границе стран цивилизованных и стран, впервые втягиваемых в цивилизацию этой войной, стран всего Востока..., поэтому должна была явить некоторое своеобразие, отличающее её революцию от всех предыдущих революций западноевропейских стран и вносящее некоторые новшества при переходе к странам восточным». Или сие: «что если самая безвыходность положения открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских странах?» Дело, конечно, не в территориальном положении России между Западом и Востоком и опять-таки не в безвыходности положения, созданного войной. Дело в том, что Россия дала свой революционный новый тип национального развития, путь перехода к социализму, минуя собственно капитализм, и исторически показала этим пример другим полуколониальным или даже колониальным странам, и не только на востоке, в Азии, но и в других частях света. И это действительно «подтвердилось в международном масштабе», но только не после первой, а после второй мировой войны, что для новейшей истории составляет большой срок.

6. Ленин в тех же заметках, возражая Суханову и его единомышленникам, писал, что они «не поняли... революционной практики». И действительно, начиная с периода уже развивающегося империализма, во всемирно-историческом масштабе стала осуществляться своеобразная «революционная диалектика». Она заключалась в том, что в это время не передовые, а, наоборот, отсталые, полуколониальные народы потянулись на путь социалистического переустройства, заключавшегося, прежде всего, в национализации основных средств производства государственной властью, выражавшей интересы трудящихся масс той или иной страны. При этом именно империализм толкал народы на такой

путь. Своим экономическим проникновением, капиталовложениями, изредка сопровождавшимися военным давлением или даже оккупацией, он ослаблял местные феодальные или компрадорско-буржуазные режимы, покупал или разворачивал местные правящие круги, лишая их всем этим последних остатков национального самосознания. С другой стороны, он развивал этим классы промышленных рабочих и батраков, а вместе с тем, усиливая их экономическое и политическое угнетение, возбуждая их протест, сплачивал их всем этим и способствовал пробуждению в их сознании общенационально-прогрессивных интересов.

Вместе с тем империализм приобщал демократические силы полуколониальных и колониальных стран к своим материальным достижениям, передовым формам политической и идейной борьбы, впервые сложившимся в высокоразвитых странах. Он знакомил местных рабочих с передовой техникой, пробуждал в них интерес к профсоюзным средствам защиты своих классовых нужд. Этим он способствовал усвоению местной интеллигенцией передовых социологических теорий, идей социализма, а иногда даже марксистского мировоззрения, выработанного в странах классического капитализма. И в тех колониальных и полуколониальных странах, в которых по понятым условиям могли сложиться активные общенационально-прогрессивные демократические движения, — могли возникнуть революционные ситуации, могла начаться борьба за национальное освобождение от колонизаторов, а заодно и от переметнувшихся на их сторону старых господствующих слоёв. Такая борьба должна была происходить, естественно, под лозунгом антикапитализма, «некапиталистических» путей развития или даже прямо путём социализма.

Первой страной, пережившей всё это и ставшей на этот путь, была Россия вместе со своими ещё более отсталыми военно-феодальными колониями. Поэтому справедливо было бы назвать такой особенный тип национального развития «русским путём перехода к социализму». Другие страны двинулись по этому пути значительно позже и, в значительной мере, по примеру и при поддержке уже развившейся и окрепшей советской России. Но ни в одной стране «классического» капитализма победоносной социалистической революции до сих пор не произошло. И нет никаких оснований предполагать, что такая революция в них произойдёт в течение ближайших десятилетий.

7. Таким образом, Ленин не только объяснил новую, империалистическую стадию развития капитализма с точки зрения

учения Маркса и Энгельса. Он стал вместе с тем первым теоретиком «русского пути перехода к социализму» отсталых полуколониальных и колониальных стран, перехода, осуществлявшегося, минуя их собственное капиталистическое развитие. Эта теория Ленина и явилась тем «творческим марксизмом», о котором в кругах РКП (б) стали говорить с 1917 г. Этот творческий марксизм во многом напоминает социалистические теории русских революционных демократов — Чернышевского, а в ещё большей мере — Ткачева. Но есть, конечно, между Ткачевым и поздним Лениным огромная разница: для Ткачева основным революционным классом было русское крестьянство с его общинными традициями, для Ленина — русский пролетариат с его индустриально-производственной закалкой и сплоченностью.

Таков был тот путь социального развития, по которому в 1917 г. русская компартия повела русский народ, по которому в течение 30 лет он шёл один, а теперь около двадцати лет идёт с другими колониальными и полуколониальными народами. К каким же результатам пришло русское общество на этом пути своего развития? У него есть, несомненно, очень большие национальные и международные достижения, которые, однако, очень умаляются недостатками в самом социальном строе его жизни, возникшими с исторической закономерностью. Достижения эти устанавливаются довольно легко, отрицательные же стороны жизни СССР требуют последовательного анализа.

8. Глубочайший кризис всей русской общественной жизни, резко обострившийся в результате военных поражений в 1917 г., заключался в том, что выявила полная неспособность старого, реакционного, полицейского, помещичьего государства по-прежнему управлять страной, непреоборимое нежелание трудящихся жить дальше под его властью. Это и определило основной пафос революционной борьбы трудящихся рабоче-крестьянских масс и привело к Октябрьскому перевороту, поставившему у власти РКП (б).

Пафос Октябрьской революции заключался, в основном, не в стремлении трудящихся к социализму — идеи научного социализма были относительно понятны только верхушке рабочего класса (я совершенно отказываю в этом крестьянству), — а в стремлении трудящихся уничтожить старый порядок, прогнивший насквозь, и в ненависти к её не только губернаторам и жандармам, но и к генералам и офицерам, в стремлении народа освободиться от

их экономической эксплуатации и создать новый свободный строй жизни и новую власть, отвечающую народным интересам.

Эта ненависть, долго копившаяся в сознании масс, нашла свой выход, определила революционную связь событий 1917 г. и последующих лет гражданской войны в борьбе с интервенцией. Эти стремления сплотили в единый лагерь промышленных рабочих, бедноту города и деревни, преобладавшую часть середняцкого крестьянства и вышедших из всех этих слоёв более классово сознательных солдат и матросов. Они объединили представителей этих слоёв в новых органах власти на местах — «Советах рабочих и крестьянских депутатов», — и толкнули их на активную борьбу за власть Советов. Эта ненависть и эти стремления породили в среде значительной части трудящихся чувство гражданственности, боевой энтузиазм и способность к подвигам в столкновении с враждебными силами, в труде, в организации новых форм социалистической власти. А идеи «социализма» и «власти Советов» по-прежнему вносили в сознание масс представители революционной интеллигенции, речи и статьи руководства РКП (б) во главе с Лениным.

Этому единому революционному лагерю противостояли в борьбе с оружием в руках социальные силы не буржуазного, в собственном смысле, а почти исключительно старого, полуфеодального, буржуазно-помещичьего лагеря — царские офицеры, генералы, выходцы из дворянства, казачество в своей зажиточной, руководящей части, а также «кулачество», старая ростовщики-торговая сельская буржуазия с её реакционными, подчас даже черносотенными убеждениями. Несмотря на отчаянное сопротивление всего этого лагеря, поддержанного интервенцией 14 государств, революционный лагерь добился окончательной победы. Внутренние силы, сплочённость революционных слоёв оказались настолько велики, что, пройдя через тяжёлые испытания военных поражений, производственной разрухи и голода, через 4 года ворвались красные знамена по стране, за исключением западных окраин.

9. Однако, несмотря на эту разительную победу, среди революционного лагеря назревали глубокие классовые противоречия, созданные самим характером Октябрьской революции. Эта революция произошла во имя идеалов «социализма» и называется «социалистической». На самом деле, объективно, она была такой только отчасти. Она была решительной и кровавой развязкой не одной, а двух различных социальных войн, которые давно велись

в русском обществе и о которых Ленин ещё в 1906 г. писал в статье «Социализм и крестьянство». Одна из них была войной всего крестьянства и его идеологов с самодержавно-помещичьим строем за «землю и волю», а другая — войной пролетариата и полу-пролетарских слоёв крестьянства с городской и деревенской буржуазией за национализацию и социализацию всех основных средств промышленного производства. Являясь, таким образом, отчасти революцией социалистической, Октябрьская революция стала вместе с тем, и в не меньшей степени, революцией крестьянско-буржуазной. Но активными участниками были не только промышленные рабочие, экспроприировавшие буржуазную собственность, но и широкие массы бедняцкого и середняцкого крестьянства, а также вышедшие из их среды солдаты и матросы, которые бежали с кораблей в деревни, чтобы громить помещичьи усадьбы и делить помещичьи земли.

В результате промышленные предприятия, недра, банки, железные дороги перешли в собственность и под управление советского государства. А в то же время возделываемые земли лишь в небольшой своей части стали собственностью этого государства, в подавляющем же большинстве они стали считаться национализированными. Предложение Ленина, выдвинутое им на I Крестьянском съезде, чтобы помещичьи земли с их инвентарём стали основой для ведения коллективного хозяйства беднейшими крестьянами, не было проведено в жизнь. Крестьяне или полностью захватили, или сильно урезали помещичьи земельные владения.

Крестьянско-буржуазная революция проходила под лозунгом революции социалистической. А между тем социалистическая революция укреплялась и защищалась в значительной мере классовыми силами крестьянско-буржуазной революции. Если бы эти силы не были захвачены пафосом борьбы против самодержавно-помещичьего строя, стремясь добиться наконец «земли и воли», пролетарская революция в столицах и промышленных центрах без поддержки этих сил не могла бы выстоять и укрепиться. Она была бы раздавлена силами буржуазно-помещичьей контрреволюции.

Но крестьянские идеалы «земли и воли», отражавшие возможности фермерско-капиталистического развития страны, и пролетарские идеалы «научного социализма», отрицавшие частную собственность на средства производства, находились между собой в глубочайшем классово-антагонистическом противоречии. В 1907 г. Ленин правильно полагал, что это противоречие может разрешиться только насилиственным путём, вооружённой силой.

Он думал, что развивающаяся и окрепшая фермерская буржуазия может «успокоить», придушить пролетариат — своего союзника в антифеодальной революции. На самом деле произошло нечто прямо противоположное и не менее драматическое.

10. Но наряду с этим основным классовым антагонизмом внутри революционного лагеря, установившего по всей стране власть Советов, среди составлявших его социальных сил стало складываться и другое, внешне менее заметное противоречие, также вытекавшее из классовой структуры русского общества и также приведшее впоследствии к драматическим результатам. Если первым классовым элементом внутри революционного лагеря был собственно промышленный пролетариат, к которому примыкали и профессиональные рабочие на железных дорогах и водных путях, и крупных с/х имениях и мастерских; если вторым классовым элементом в этом лагере были мелкие владельцы средств производства в деревнях и городах, могущие систематически обеспечивать свое существование как собственным трудом, так и наемной рабочей силой, то в тот же лагерь входил отчасти и третий «элемент», который нуждается в теоретическом выделении.

Ещё в «Письмах издалека», оценивая расстановку сил в России, существующую после свержения царизма, Ленин писал, что противоречащий «Временному правительству» Совет рабочих депутатов «имеет себе союзников во всём пролетариате и во всей массе беднейшего населения», что этот Совет — «представитель всех беднейших масс населения», что необходимо создать организацию пролетариата, «руководящего всей необъятной массой городской и деревенской бедноты, полупролетариата и мелких хозяйствиков».

Но беднота — понятие растяжимое. Может жить очень бедно и индустриальный или ж/д рабочий, сохраняющий, однако, внутреннюю организованность, благодаря применению техники и своей связи с рабочим коллективом предприятия. Может быть очень беден и крестьянин с мелким наделом или кустарь, сохраняющие, однако, готовность к пусть индивидуальному, но постоянному и упорному труду. Но была беднота и иного склада, представляющая собой деклассированные «элементы» среди социальных низов. Это — люди или потерявшие или никогда не имевшие даже мелкой собственности, а вместе с тем и не приобщенные и к индустриальному наёмному труду в рабочем коллективе на предприятии, живущие случайными заработками. Не зная постоянного организованного труда, страдая от неустойчивости своего

материального состояния, такая беднота проявляла обычно соответствующие черты в своём общественном сознании, в своей психологии — черты социальной оскорблённости и озлобленности, зависти и классовой ненависти к людям, устойчиво обеспеченным, а в особенности — к обладающим богатством и властью, черты индивидуалистической жажды к собственной обеспеченности и собственной власти. Такой «бедноты» было очень много среди социальных низов, но её было немало и среди людей, имеющих какую-то долю образованности и интеллигентности.

Октябрьская революция всколыхнула и политически разбудила все демократические низы русского общества, но больше всего именно деклассированную «бедноту». Часть её примыкала или вновь примкнула к реакционному лагерю, надеясь всплыть при возможной победе. Но значительная её часть проявляла исключительную гражданскую активность на стороне революционного лагеря. Именно из этой среды выходили те участники революционных событий, которые в особенно острые моменты гражданских столкновений проявили себя «ультрапреволюционными» и жестокими политическими перегибщиками, а позднее, в более спокойные периоды гражданского строительства обнаруживали открытое или откровенное властолюбие, политический карьеризм, часто не стеснявшуюся в средствах склонность к самодовлеющему «вождизму», а также к помпезности своих действий и образа жизни.

Относительная немногочисленность собственно пролетарских партийных кадров РКП(б) на широких просторах в основном крестьянско-мещанской страны привела к тому, что такие ультрапреволюционеры и властолюбцы проникали в ряды этой партии, вставшей у власти, и нередко становились особенно активным и даже руководящим элементом в её рядах. Очень часто именно они делали революцию на местах — экспроприировали и расстреливали помещиков и буржуазию, а позднее и «кулачество». Такие руководители с периферии могли подниматься и выше, благодаря своей революционной репутации, и переходить в центральный государственный аппарат. Наряду с собственно пролетарским стилем руководства, который отличался простотой, скромностью, самоотверженностью, лучшими представителями которого были Ленин, Свердлов, Дзержинский, Киров, в партии постепенно всё сильнее стал проявляться другой стиль руководства, имеющий и иные психологические свойства. Для этого были свои исторические причины.

11. В условиях такого сложного переплёта классовых тенденций внутри революционного лагеря, коммунистической партии пришлось ставить и разрешать два важнейших вопроса, определяющих будущее страны: вопрос о принципах организации государственной власти и вопрос о принципах строительства социализма в отсталой, в основном крестьянской стране. Теоретическое разъяснение этих вопросов, как и многих других, выпало на долю Ленина.

Разработке первого вопроса Ленин посвятил брошюру «Государство и революция», написанную в августе-сентябре 1917 г. Она содержит справедливые упрёки оппортунистической с-д за её стремление обходить и замалчивать основные положения Маркса и Энгельса в вопросе о государстве. Эти положения заключаются в следующем: пролетариат, совершивший пролетарскую революцию, должен не просто подавить власть буржуазии и захватить обслуживающую её государственную машину, но разбить последнюю и создать новое государство, которое будет затем постепенно «отмирать». Но в трактовке этого вопроса у Ленина сказалось его убеждение в близости первой революции, в том, что «если русский народ завоюет полную свободу и передаст государственную власть в руки Советов», тогда «господство капиталистов на земле не сможет удержаться» («Письма издалека»). Поэтому Ленин с большим доверием отнёсся к мыслям Энгельса об исторической диалектике государственной жизни человека, а также к сделанным Марксом обобщениям опыта Парижской Коммуны, опыта, конечно, слишком короткого и недостаточного. Ленин развивает мысль Энгельса, что буржуазное государство, состоящее в основном из «особых отрядов вооруженных людей», должно смениться революционной диктатурой пролетариата, проводимой «самодеятельной военной организацией населения», «вооруженными рабочими», что если «большинство народа само подавляет своих угнетателей, то особой силы для подавления уже не нужно». В этом смысле возрождается на новой, высшей основе примитивный демократизм политической жизни, который некогда существовал в доклассовом обществе. Вместе с тем Ленин развивает старую мысль Маркса о необходимости замены старой бюрократической машины, которая состояла из привилегированных чиновников, стоящих над народом, новым аппаратом, позволяющим постепенно «сводить на нет всякое чиновничество». Это кажется возможным потому, что уже при капитализме функции управления очень упростились и поэтому станет «необходимо превращение функции государственной службы в такие простые

операции контроля и учёта, которые доступны, посильны громадному большинству населения». Опираясь вслед за Марксом на опыт Коммуны, Ленин считает это осуществление при «сменяемости служащих в любое время» при невыполнении ими «ответственной службы» за «заработную плату рабочего», при введении «такого порядка, когда все упрощающиеся функции надсмотря и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и затем отпадут как особые функции особого слоя людей». А по Энгельсу, при этом «общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции наблюдения за социалистическими интересами».

Такое представление о принципах государственной власти в управлении целой страной вступает у Ленина в явное противоречие с теми задачами, которые неизбежно встают перед пролетариатом, «организованным в господствующий класс». «Пролетариату, — пишет Ленин, — необходима государственная власть..., организация насилия для подавления сопротивления эксплуататоров и для руководства громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, пролетариатом в деле налаживания социалистического хозяйства». А в другом месте он пишет, что «экспроприация капиталистов неизбежно даст гигантское развитие производительных сил человеческого общества». Становится неясным, как же становится возможно это «руководство» всей непролетарской массой населения и это «налаживание» гигантского развития производительных сил человеческого общества с помощью одних только «надсмотрщиков, бухгалтеров и техников», при обязательной постоянной смене служащих, при выполнении функции управления всеми по очереди — без постоянного применения политической власти, без соответствующих начальников, накапливающих именно особый опыт руководства. Да и сами вооруженные рабочие, являющиеся основой диктатуры пролетариата, не могут же они по очереди ходить с винтовкой и «подавлять буржуазию! И они неизбежно выделяются в особые вооруженные отряды организации внутреннего политического обеспечения порядка, не говоря уже об армии, защищающей новое государство от нападения извне. В ещё большее противоречие вступает идеал возрождения примитивного демократизма с разъяснениями Ленина сущности «первой стадии коммунизма — социалистической организации общества». «Справедливости и равенства, — пишет Ленин, — первая стадия коммунизма дать еще не может: различия в богатстве останутся и различия несправед-

ливые..., состоящие в распределении продуктов потребления по работе, а не по потребностям... буржуазное право отменяется не вполне, а лишь отчасти...» И дело, конечно, не столько в том, что «отдельные люди не равны — один сильнее, другой слабее, один может, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше и т. д., дело в том, что само «качество» работы неизбежно окажется неравным: одни занимают руководящие посты, другие остаются работниками. И оплата их труда, естественно, окажется неодинаковой: начальники не смогут и не захотят довольствоваться «зарплатой рабочего». И тогда Ленин пишет далее, что «государство ещё не отмерло совсем, ибо остается охрана буржуазного права, освящающего фактическое неравенство». Но это не значит, конечно, что государство будет охранять большую долю холостых и малосемейных работников от посягательства со стороны женатых и многосемейных. Оно, конечно, должно будет охранять, прежде всего, большую зажиточность начальников от посягательств со стороны простых рабочих.

Русская действительность после Октября быстро обнаружила всю иллюзорность представлений о возможности перехода общества к чему-то похожему на «примитивный демократизм»... Советы рабочих и солдатских депутатов сейчас же создали районные и областные «исполкомы», состоящие из многих новых и отчасти старых чиновников, работающих под руководством партийных администраторов, которые, естественно, стали осуществлять определенные политические функции. Съезды Советов создали центральное правительство, состоящее из множества «комиссариатов», представляющих собой ещё более сложные и громоздкие бюрократические организации. Были созданы также ВЧК и ОГПУ, которые стали охранять новый строй не только от буржуазно-помещичьей контрреволюции, но от всякого на него посягательства. Все это, несомненно, способствовало быстрому росту бюрократизма в аппарате нового государства.

12. Со всем этим Ленину пришлось считаться, когда через три года после Октябрьской революции партия подошла к вопросу о принципах управления национализированной промышленности. Вопрос этот был поставлен в стихийно возникшей дискуссии о профсоюзах и их роли в управлении производством в 1920-21 г.г., а затем на X съезде РКП(б) в марте 1921 г. Он был выдвинут «Рабочей оппозицией», возглавляемой Шляпниковым, а затем поддержанной Троцким и Бухариным. Ленин выступил против их взглядов и предложений, назвав их анархо-синдика-

листами. Он считал неправильным основное положение «Рабочей оппозиции», согласно которому «управление народным хозяйством принадлежит Всероссийскому съезду производителей, объединенных в профессиональные союзы, которые избирают центральный орган, управляющий всем народным хозяйством». Ленин разъяснил, что в этом положении устраивается «руководящая, организующая роль партии по отношению к профсоюзам пролетариата, а этого последнего — по отношению к полупомещикам и прямо мелкобуржуазным массам трудящихся». Он указывал, что «нет трудящихся вообще, а есть либо владеющий средствами производства мелкий хозяйствчик, либо наемный рабочий», что выборы органов управления всем хозяйством, всеми трудящимися неизбежно приведут к «реставрации... власти и собственности капиталистов и помещиков».

Ленин противопоставлял таким предложениям другое понимание принципов управления страной, места и роли в нем профсоюзов. По его пониманию, «партия вбирает в себя авангард пролетариата». Она осуществляет и все государственные функции через советский аппарат». Профсоюзы же «создают связь авангарда с массами». Профсоюзы должны быть пока только участниками... всех местных и центральных органов управления промышленностью... Но они должны прийти к фактическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством». Для этого, по мыслям Ленина, «требуется 10-15 лет, а может быть, и более».

Однако Ленин хорошо осознавал, вместе с тем, и наличие бюрократизма в советском аппарате. «Из нашей партийной программы видно, — писал он, — что государство у нас рабочее с бюрократическим направлением». Отсюда вытекало, что профсоюзы должны «защищать материальные и духовные интересы пролетариата от своего государства», (соч., т. 31, стр. 6). И он заявил, что «борьба с бюрократизмом потребует десятилетий», и что это — «труднейшая борьба».

Таким образом дискуссия о профсоюзах и X съезд РКП(б) выявил в государственно-организационной жизни советского общества наличие трех различных тенденций:

- а) «анархо-синдикалистской»;
- б) «партийно-профсоюзной» или, еще иначе централизованно-демократической, но на словах, а не на деле, и
- в) партийно-бюрократической, ставящей государственную власть над обществом и трудящимися массами.

Какая же из этих тенденций стала в дальнейшем преоблада-

ющей и даже господствующей? «Анархо-синдикалистская» тенденция была идеологически отвергнута, осуждена руководством РКП(б) и не получила дальнейшего развития. Но Ленин был неправ, говоря, что господство этой тенденции привело бы к реставрации собственности капиталистов и помещиков. Капиталисты и помещики в старом дореволюционном смысле были здесь ни при чем. Если бы «Всероссийский съезд производителей» взял в руки управление народным хозяйством, тогда мелкобуржуазная стихия революции постепенно победила бы пролетарскую. Лидеры зажиточного крестьянства, потенциально — фермеры, прежде всего «трудовики» оттеснили бы от власти коммунистов самым демократическим путем, а иногда — и с помощью «придушения». Россия пошла бы, если брать ее изолированно от международных отношений 1920-40гг., по фермерскому пути развития капитализма, что и предполагал Ленин в 1907 г. в своей «Аграрной программе с-д». Но это потребовало бы десятилетия независимого развития России, что было бы невозможно.

Партийно-профсоюзная или, иначе, централизованно-демократическая тенденция развития советского государства, которая первоначально предполагалась Уставом РКП(б), (на словах она и сейчас предполагается), сыграла бы огромную роль в демократическом воспитании масс России, которые до тех пор, изнывая под гнетом помещичьего самодержавия, были совершенно лишены такого воспитания. Если бы эта тенденция стала господствующей, то социалистическая форма существования русского общества постепенно наполнилась бы социалистическим содержанием. Тогда была бы осуществлена не только национализация и обобществление основных средств производства в интересах трудящихся масс. Тогда могла бы быть постепенно достигнута активная демократическая самодеятельность трудящихся — их непосредственное сознательное свободное участие в формировании государственной власти, в выборе руководства правящей партии и государства, центральных и местных органов власти, в повседневном, ничем не ограниченным контролем над ними, в свободном публичном обсуждении всех общественных дел и вопросов, невзирая на лица, в свободном создании различных хозяйственных, политических, культурных обществ и корпораций, в активном участии в постановке и разрешении тех или иных идеологических проблем. Все это также могло быть достигнуто очень постепенно, в течение десятилетий, при условии полной национальной независимости, отсутствии каких-либо угроз или нападений извне. Это был бы дей-

ствительно социализм. Но такие условия для этого развития реально не существовали.

На самом деле все пошло по-другому. То, что Ленин называл «бюрократическим извращением» рабочего государства, очень скоро стало преобладающей, а затем и господствующей тенденцией в управлении страной. Уже через 10 месяцев после X съезда РКП(б) в постановлении ЦК РКП(б) «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики», написанным Лениным, указывалось, что заводоуправление, «составленное по общему принципу единонаачалия, должно самостоятельно ведать установлением размеров зарплаты» и т. п., что «всякое непосредственное вмешательство профсоюзов в управление должно быть признано безусловно вредным и недопустимым», что профсоюзы могут выдвигать своих кандидатов в хозяйственные и государственные органы, но решение вопроса принадлежит исключительно ходорганам, что «одной из решающих задач профсоюзов является выдвижение и подготовка администраторов из рабочих и трудящихся масс вообще». Какой широкий простор давало все это для приемов Тит Титыча («могу утвердить, могу не утвердить») по всем управлениям промышленностью сверху донизу!

Таким образом, уже в начале 20-х годов при жизни и под руководством Ленина партийно-бюрократическая тенденция в управлении промышленностью, а отсюда и государством, стала усиливаться и преобладать над тенденцией партийно-профсоюзной.

13. И в эти годы, когда была отбита интервенция и окончена гражданская война, перед партией встал другой, не менее трудный и важный вопрос — о взаимоотношениях города и деревни, рабочего государства и основного населения страны — крестьянства, вопрос о том, что делать с крестьянскими массами, как повернуть их на путь социалистического развития под руководством пролетариата.

После заключения Брестского мира Советское правительство первоначально предполагало наладить широкий «товарообмен» между социалистической промышленностью и мелкособственническим крестьянством. Но из этого ничего не получилось, так как в период гражданской войны национализированная промышленность почти не развивалась или даже деградировала из-за отсутствия топлива и сырья. Но не только это обстоятельство, а прежде всего стихия крестьянского рынка периода «продразверстки» навязала Советской власти такие отношения с крестьянством, которые основывались на рыночной купле-продаже.

НЭП, предложенный Лениным, и имел своей целью прежде всего не столько уступку городской буржуазии в деле налаживания легкой промышленности, сколько именно узаконение буржуазно-рыночных отношений между советским государством и крестьянскими массами. В этих отношениях Ленин видел своеобразный рычаг для постепенного перевода русской деревни на социалистические рельсы. Он ставил перед партией задачу «превратить Россию нэповскую в Россию социалистическую». Этому вопросу Ленин посвятил одну из последних своих статей — «О кооперации», где речь идет о «торговле» государства с крестьянством, о «кооперативных операциях», в которые кооператоры должны втягивать «все мелкое крестьянство» путем экономических льгот и премий. Вместе с тем в статье говорится о необходимости добиться «культурной революции» среди широких масс крестьянства. Участие в кооперации и связанной с ней «культурной революции», по Ленину, должно принять «поголовно всё население». Исторический срок, необходимый для этого процесса, намечается «на хороший конец» — «в одно-два десятилетия» (Соч., т. 38, стр. 428-430, 434).

Это — «если нам не помешают». Значит, «на худой конец», если такое вмешательство произойдет — в три и больше десятилетия. Но о необходимости быстрой, единовременной, сплошной и насильтвенной «коллективизации» крестьянских средних и мелких хозяйств с единовременной насильтвенной «ликвидацией кулачества как класса» — у Ленина нет ни слова.

...Т. е., в последние годы своей жизни Ленин уже не думал о быстром переходе русского общества к «примитивному демократизму», о создании такого государства, которое сейчас же начнет «отмирать». Но он все же предполагал, что бюрократизация советского аппарата — явление временное, что через 15-20 лет профсоюзы все же смогут прийти к «сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством» и что через 20-30 лет все крестьянство может быть мирно кооперировано, пройдя, вместе с тем, стадию «культурной революции». И в том и в другом отношении Ленин действительно оказался «кремлевским мечтателем».

Окончание следует

## Молодежь в русской истории

Молодежь — будущее страны. И не только непосредственное, «физическое» будущее, определяемое одним поколением. У каждого поколения есть своя духовная жизнь, свои идеалы, верования, надежды и мечты. От того, насколько эти идеалы и мечты, эта духовная жизнь являются значительными, насколько их содержание определяется запросами истории, насколько молодежь данного поколения сумеет откликнуться на призыв эпохи, зависит, сумеет ли она, став «отцами», передать свою духовную эстафету своим «детям». Духовная преемственность поколений — вот что определяет будущее страны, проверяет ценность и жизненную стойкость идеалов, устоев, надежд и верований. Духовная жизнь поколения — это культурное творчество нации. Когда духовная жизнь молодежи интенсивна, когда идеалы ее органичны, когда молодежь полна энтузиазма, когда она во имя своих верований и идеалов идет в огонь — тогда не закончено еще культурное развитие народа. У такого народа есть будущее, культура его развивается, создается. Когда молодежь становится «благоразумной» и «рассудительной», когда идеалы ее плоски и умеренны, а «бунт» — всего лишь хулиганские выходки, определяемые «болезнью роста», это значит, что культурное творчество исчерпано, здание завершено, будущего нет, есть только прошлое, история...

Если «отцы» передают свою духовную эстафету «детям» и содержание этой эстафеты не противоречит сложившимся устоям жизни, народному самосознанию, духовным идеалам, всему тому, что составляет общественно-государственный строй — это значит, что строю стоять еще долго. Духовные заветы каждого молодого поколения только усиливают, укрепляют то, что было добыто «отцами». Такова была духовная эстафета Московской

Руси, передаваемая из поколения в поколение. Содержание этой эстафеты сводилось к следующим идеям: православие как духовная основа всей жизни, здоровое национальное чувство и определяемая им внешняя политика, целью которой является объединение Руси, подчинение окраин, расширение Руси до естественных географических пределов, борьба за выход к морям. В идеале — освобождение православных из-под турецкого гнета, крест на св. Софии, объединение славян. Идея о Руси как о Третьем Риме. Государственно-политическим идеалом была царская власть. Царь олицетворял Русь. Без царя не могло быть власти, не могло быть Руси. Царь стоял над всеми и объединял всех.

Эти идеи создали русскую нацию, легли в основу русской культуры, они передавались поколениями, они были духовной эстафетой, передаваемой вплоть до Петровских реформ.

«Отцы» и «дети» Московской Руси были едины, духовного бунта молодых не было. Было взаимопонимание, связь и уважение к «отцам» (а их было за что уважать: они крепили Русь), было культурное строительство.

Петровская реформа впервые в истории России создала проблему «отцов и детей». Отцы были за старое, дети за новое. Вместе с бородой и старомосковской одеждой исчезало и уважение к отцам и всему прошлому, т. е. к истории, к России... Свое стало казаться смешным, стыдным, нелепым; напротив, всё иностранное восхищало, вызывало преклонение. Были поколеблены духовные основы Московской Руси. Впервые было поколеблено православие как духовная основа общества. С Запада в высший класс общества стали попадать и распространяться новые негативные идеи, религиозный скепсис; пока он был неглубок еще, но он уже получил свою питательную среду. Возникшее презрение к национальным формам жизни вызвало религиозную терпимость, терпимость в исторических условиях Петровской России неизбежно должна была повлечь и повлекла религиозную индифферентность в возникающем новом европеизированном высшем классе. Пример неуважения к религии показывал порой сам царь.

Упразднение патриархии и подчинение Церкви светскому бюрократическому управлению было не только изменением привычной формы церковного управления, оно исказило саму идею русского православия, изуродовало его душу... Реформа Никона, хотя и затронувшая разные стороны церковной жизни и вызвавшая раскол, не поколебала православие как духовную основу общества. Реформы Петра, затронувшие Церковь только внешне,

поколебали ее внутренние духовные основы. С Петровских реформ Церковь перестала быть единственной и бесспорной духовной инстанцией для всех русских. Церковь перестала быть единственным духовным оплотом, появились ее соперницы — западная наука, философия, политика.

Была подорвана идея царя как единственной формы национальной, народной русской власти («Без царя нет Руси»). Приблизившись внешне и лично к народу, царь-плотник внутренне стал... немцем! («Царя немцы подменили в Стекольном, а это не царь, а немец».) Возникла мрачная легенда о царе-антихристе, она была немыслима в Московской Руси. Царь перестал быть русским царем, он стал императором всероссийским... В это же время высший европеизированный класс узнал, что кроме традиционной формы власти существуют и другие, представляющие, может быть, для этого высшего класса даже больше удобств, — например, республики, конституции...

Наконец внешняя политика перестала носить исключительно русский, национальный характер. Россия вступила в так называемый европейский концерт и стала в нем играть на европейской скрипке вместо русской балалайки, а, начиная с XVIII века, русские чудо-богатыри стали усиленно у dobrять своими трупами европейские нивы ради интересов высокой европейской политики...

С Петра началось на Руси великое шатание всего и вся, не закончившееся по сегодняшний день...

Молодая Россия Петра передала свою духовную эстафету, но содержание этой эстафеты не было пока ни национальным, ни творческим, оно заключалось в одном слове: европеизация. Весь XVIII век Россия тросила в европейской школе, прилежно слушая своих учителей, по преимуществу немецких и французских. Учителя были строги и порой пребольно наказывали свою ученицу за нерадивость, леность и плохой характер, кроме того ученица вообще не вызывала в учителях никаких симпатий, а даже напротив, скорее совсем наоборот... Тем не менее симпатии есть симпатии, а деньги есть деньги. Ученица слишком хорошо платила, чтобы пренебречь ею, а учителя были по-европейски добросовестны, и когда к XIX столетию ученица закончила курс, то оказалось, что она не только многому научилась, но и сама многому может поучить... С XIX века возникла небывалая по своей силе, свежести и таланту русско-европейская культура, европейская по форме, русская по содержанию.

Весь XVIII век молодежь активно поддерживала сложившийся строй жизни. Отцы передавали эстафету детям. Но вторая, Петербургская, европейская Россия просуществовала всего 200 лет, потому что было великое шатание всего и вся...

Россия XVIII века была воистину страной молодых, страной великих надежд и блестящего настоящего. Но за блеском и роскошью петербургских дворцов, парадов на Марсовом поле, великолепием Царскосельских садов и строгой красотой Петергофского парадиза не видно было того, что скрывалось за этим: шатания всего и вся.

## 2

Петровская реформа разъединила русское общество, создав внешне совершенно отличный от народа высший класс и отдав этот класс на обучение и воспитание европейцам.

С XVIII века русское дворянство, будучи до этого времени национально однородным (попадавшие в его состав иностранцы, сравнительно немногочисленные, быстро и совершенно ассимилировались, принимая веру, нравы, обычаи и даже изменения со всем на русский лад свои фамилии) и тесно связанным со всем народом русским, пополнилось большим количеством служилых иностранцев, немцев по преимуществу.

Многие из них, став русскими подданными и дворянами, сохранили свою национальность, религию, быт, нравы и предания. Однако, став русскими дворянами, они чувствовали себя не только беспредельно преданными и всем обязанными государю, но и себя считали русскими людьми вполне и совершенно. Среди русских дворян, носящих нерусские имена, не только не могло и речи идти о предателях и изменниках, но они внесли в среду русского дворянства несколько не достававшее тому чувство личной чести, исполнительности, аккуратности в делах и энергии на службе. Многие иностранные фамилии внесли огромный вклад в русскую культуру и государственное строительство и сделались славны в поколениях своих; в этой связи можно называть такие фамилии, как Врангель, Энгельгардт, Струве и др. Офицеры и генералы с нерусскими фамилиями так же доблестно сражались и умирали за Россию, как и их товарищи с чисто русскими фамилиями. Но, умирая за Россию и преданно служа ей, они не знали и не понимали народа русского. Россию они воспринимали с государственно-юридической, в лучшем случае с исторической точки зрения.

В сходном положении «русских иностранцев», преданных России и престолу, но не умеющих писать по-русски, говорящих с трудом по-русски, думающих по-французски (в прямом и переносном смысле), оказались и многие чисто русские по происхождению дворяне, особенно из высшего круга. Из них вышли русские вольтерьянцы и их духовные дети декабристы, не могущие по-русски писать показания и просившие, чтобы им разрешили пользоваться французским языком...

Смешиваясь с иностранцами и объединившись с ними духовно и в быте, русские и нерусские по происхождению дворяне образовали в XVIII веке самый причудливый, неестественный, самый трагический за всю историю русскую (да и не только русскую) класс — русско-европейское дворянство, создавшее в свою очередь русско-европейскую культуру — это высшее достижение русского гения — и сделавшееся духовным отцом другого трагического класса — русской интеллигенции.

Русские европейцы первой половины XVIII века передали свою духовную эстафету своим детям — русским вольтерьянцам Екатерининских времен, те — масонам Александровской эпохи, из масонов вышли декабристы... На декабристах кончается ученический период русско-европейского общественного самосознания.

Декабристы не передали своим детям духовной эстафеты. Не передали, несмотря на яркость и героичность их поколения. Не передали потому, что идеи их не были органическими, потому что они не вытекали из всего хода русского исторического развития, потому что Россия начала XIX века не была Францией конца XVIII.

Декабристы не слышали голоса истории, они рядили русского крепостного крестьянина в одежды парижского санкюлота. И поэтому прав был Тютчев, когда писал («Декабристам»):

Народ, чуждаясь вероломства,  
Поносит ваши имена,  
И ваша память для потомства,  
Как труп в земле, схоронена.

«Памяти» не было потому, что не было духовной эстафеты, духовной преемственности к следующему за декабристами поколению.

Поколения 30-х и 40-х годов пошли по совсем другому пути. Не по пути политических экспериментов, а по пути культурного творчества. Это были поколения Пушкина и Чаадаева, славянофилов и западников. Прежде чем браться за политические или экономические преобразования, нужно было подготовить их духовно. Нужно было осознать ход нашего исторического развития, найти место России среди народов и понять ее призвание.

Герцен и его политическая группа развивались под влиянием этих новых культурных идей, под влиянием ожесточенных споров петербургских и московских кружков. Декабристы же в сущности были для Герцена таким же историческим преданием, как... предания новгородской вольницы. И вся эта «клятва на Воробьевых горах» была ведь юношеской героической декламацией в духе Шиллера...

Герцен был самым последовательным западником, доведшим свое западничество до логического предела, — до европейского социализма... Дальше было некуда, дальше надо было отказаться от России. Герцен не мог этого сделать, потому что был слишком русским. Разочаровавшись в Европе, он подошел с противоположного (европейского) конца к тем учениям, мыслям и идеям, в борьбе с которыми он начал свой путь, — к славянофильству.

Несмотря на весьма большое свое влияние, Герцен тем не менее не шел по столбовой дороге русской общественнофилософской мысли, не случайно и недаром он оказался в эмиграции. Политическая направленность его деятельности отомстила за себя. Влияние не перешло в духовную преемственность. У Герцена не было духовных детей. Но они были у славянофилов и западников.

Проповедь Белинского и Чернышевского, Хомякова и Аксаковых не прошла даром: они передали свою духовную эстафету своим духовным детям.

Идеалисты и исторические пессимисты 30-х и 40-х годов нашли понимание в народниках и «поздних славянофилах» 60-х и 70-годов. Недаром «бес» Петр Степанович Верховенский был родной сын либерала и идеалиста Степана Трофимовича Верховенского...

С начала XIX века произошел разрыв между «отцами» и «детьми». Разрыв этот с каждым поколением увеличивался. Молодежь перестала понимать «стариков», да и не хотела их понимать. Русский исторический строй, обновленный Петровской реформой, дал глубокую трещину.

## 3

Глубокий кризис русской исторической государственности, стремлением выйти из которого были реформы 60-х годов, изменили все отношения в стране. «Реформация» 60-х годов по своему значению и влиянию на дальнейшие судьбы нашей родины может сравниться только с Петровскими преобразованиями. Петровские преобразования, внеся разрыв и шатание в русское общество, создали новую европейскую Россию, укрепили ее военную и государственно-хозяйственную мощь, вывели ее в Европу, создали предпосылки для возникновения новой, синтетической русско-европейской культуры в противоположность старой византийско-русской, московской. Расцвет этой культуры дал миру такие имена, как Пушкин, Достоевский, Толстой и блестящую плеяду наших писателей, поэтов, художников, мыслителей, составляющих до сих пор гордость не только нашу, но европейскую. Они вошли в европейское сознание и «культурный минимум» так же, как вошли в него Шекспир, Гёте, Веласкес и импрессионисты.

Реформы 60-х годов завершили Петровские преобразования. После них наступила демократизация всего русского общества, смешение, «уточнение» и кризис.

Петровские преобразования создали новый класс, противостоящий народу, — русско-европейское дворянство. Реформы создали также новый класс, оторванный от народа, — разночинную интеллигенцию. Как у европейско-русского дворянства были свои писатели, свои идеологи, свои художники, свои культурные ценности, так и у интеллигенции появились свои писатели, поэты, идеологи, художники. Как те, так и эти были далеки от народа, от его насущных задач, от его Духа. Преобразования создали разрыв, реформа этот разрыв увеличила.

Так же, как и при Петре, молодежь была в первых рядах борцов за новое. Но при Петре она поддерживала правительство (и сама составляла его), — при Александре она фрондировала и бунтовала.

Петровские преобразования были делом молодых. Сам царь был молод. И «птенцы гнезда Петрова» — тоже. Старики были против... Петровские преобразования — это борьба молодой петербургско-европейской России со старой московско-византийской.

«Реформация» 60-х годов не была делом молодых. Царю было за сорок, и его сподвижники тоже не были молодыми людьми...

Петровские преобразования положили начало глубокому разъединению народа от его высшего слоя и подорвали нашу духовную основу — православную Церковь. Но здоровый, «варварски-молодой» организм России выдержал европеизацию, «переварил» ее, просуществовал еще 200 лет, дав миру за этот короткий исторический период пример небывалого культурного расцвета.

«Реформация» усилила, расширила и углубила пропасть между высшим слоем и народом. «Интеллигенция», созданная реформами, была дальше от народа, чем дворянство. Дворянин жил с мужиком, знал его обычай, нравы, быт; разночинный «интеллигент», сам вышедший из низов, жил в городе, народный быт знал только по воспоминаниям да из книг, душу народа не знал, да и знать не хотел, почитая ее «темной и отсталой», и стремился ее «просветить».

Если преобразования подорвали православие и породили «вольтерьянцев» и масонов, то реформа вызвала к жизни нигилистов и атеистов. Дворянство было «вольтерянским», интеллигенция — безбожной. Верить в Бога стало очень скоро среди интеллигенции признаком необразованности, «ретроградства» и «мракобесия»... Я имею в виду, конечно, не высший слой интеллигенции, а ее массу, интеллигентскую толщу...

Свои «прогрессивные», «передовые» взгляды интеллигенция стремилась всячески передать и передавала по мере сил своих народу. С 60-х годов стал появляться тип «развитого» фабричного, гордого своей «трактирной образованностью» и своей «дружбой» со «студентом». Духовный облик этого «развитого» простолюдина гениально предвосхитил Достоевский в лице Смердякова... Именно смердяковы и составили потом основной кадр «ленинской гвардии».

Создав интеллигенцию, «реформация» создала слой людей, враждебных органически русской исторической государственности. Разночинцы получали образование, гордились своим образованием (как правило, впрочем, весьма неглубоким или специально-односторонним), но не получали прав и власти. Права и преимущества имело привилегированное сословие — дворянство, власть тоже находилась в руках этого сословия. Разночинцу оставалось только глубоко ненавидеть всех «привилегированных» и стремиться к свержению строя, органически чуждого ему. Но новый слой — интеллигенция — была молодым и постоянно расширяющимся слоем общества. Интеллигентская молодежь скоро

оказалась в первых рядах общественного движения, формируя его, увлекая за собой молодежь из других классов.

С 60-ых годов проблема «отцов» и «детей» определилась: молодежь, разночинцы, интеллигенты, нигилисты, революционеры, демократы, прогрессисты, атеисты, народники и марксисты — «дети»; либералы, чиновники, дворяне, «реакционеры» — «отцы». «Студент» — стало нарицательным именем для революционера. Молодежь стала наследственно революционной. Русская историческая государственность была обречена. После «реформации» ее крах был делом только времени. Россия просуществовала еще 50 лет, за это 50-летие русский гений достиг небывалых вершин во всех областях науки, литературы, искусства, но на недо забывать, что Достоевский, Толстой и даже Щедрин и Некрасов были людьми «дореформенными», сформировавшимися в Николаевскую эпоху...

Причины, приведшие к гибели Петербургскую Россию и к противопоставлению власти и общества, заключались в том, что Петровские преобразования, хотя и проведенные гениальным человеком, подорвали незыблемое до них чувство национального достоинства, национальной духовной целостности, унизив глубоко всё родное русское, оторвав высший слой от народа и смешав его с иностранцами, создали из этого высшего слоя трагический класс, преданный России, но далёкий от народа русского. Были подорваны: духовная идея — православие, и государственная — незыблемость власти царской. Преобразования были необходимы, но проводить их надо было только русскими руками: не оскорблять чувство национального достоинства, не отбрасывать национально-культурные традиции, а обогащать их западноевропейскими. Преобразования в Японии, начавшиеся в 1868 году, так называемая «эпоха Майдзи», проводились именно на основе этих принципов: «иностранных специалистов» было минимальное количество, и они сразу же увольнялись по минованию надобности в них, не оседая в Японии и не сливааясь с японским правящим слоем. Преобразования не только не оскорбляли национального духа и национальных традиций, а напротив, укрепляли их, обогащая европейской культурой. Европеизировав Японию внешне, они не затронули ее внутренне, духовно. Японские традиции, «Бушидо» (моральные принципы) и «Набушиге Гоцуми» (культ предков) остались в Японии XX века (во всяком случае, в первую его половину) такими же, какими они были в Средние века... Всё это привело к сохранению исторической государственности, к сохранению национально-государственного сознания, к нацио-

нальному единству, отсутствию социальных потрясений и катализмов и к небывалому экономическому и научному расцвету страны.

Реформы 60-х годов также были необходимы. (Фактически они были, конечно, необходимы еще и раньше.) Но в противоположность Преобразованиям, проведенным слишком «радикально», они не были доведены до своего логического конца — конституции. Создав интеллигенцию, необходимо было предоставить ей место в политической жизни страны; вместо этого интеллигенция, — слой по самому своему характеру политически активный, — была лишена права на общественно-политическую деятельность и уже этим самым отброшена в оппозицию. В этой связи нельзя не обратиться снова к примеру Японии. Японские Преобразования естественно перешли в Реформы и завершились конституцией. Создав интеллигенцию, Реформы дали выход её политической активности. Причем японская конституция, являясь вполне национальной, сохранила сильную императорскую власть и исходила из реального политического положения, будучи далека от всякого рода утопических увлечений и механического перенесения на японскую почву европейского исторического опыта.

Благодаря всему этому японская интеллигенция была всегда национально мыслящей, политически здоровой, глубоко преданной национально-государственным идеалам, далекой от утопических увлечений, в полную противоположность интеллигенции русской, с самого своего возникновения чувствующей себя «обиженной», лишенной того, что составляет необходимую для жизни этого слоя духовную атмосферу, — общественно-политической деятельности. Отсюда политическая болезненность нашей интеллигенции, её историческая оппозиционность «во что бы то ни стало», слепая и озлобленная революционность, переходящая порой в настоящее «беснование»: к объективному отказу от России, к «пораженчеству», к радости по поводу русских военных неудач; отсюда полная потеря политической реальности у интеллигентских политиков и мыслителей, слепое увлечение самыми нелепыми, самыми утопическими идеями (это относится как к «западническому» — марксистскому крылу революционной интеллигенции, так и к её «славянофильскому» — народническому), ее ненависть к правительству, переходящая в ненависть к России вообще (объективно), её космополитизм, интернационализм, непонимание русских национально-государственных задач, теоретичность и догматичность её мышления, полное непонимание реальной жизни, вытекающее из подобного мышления. Рус-

ская интеллигенция была и осталась вплоть до её уничтожения большевиками (большевизм сам является порождением интеллигенции, «развитием, переходящим в отрицание», логическим завершением революционного «бесовства», осуществленной шигалёвщиной) самым болезненным, самым нездоровым общественным слоем не только в русской, но и в мировой истории, несущим полную историческую ответственность за гибель России.

Начиная с 60-х годов, ведущим общественно-политическим строем становится интеллигенция. Именно этот слой, являясь наиболее политически активным, выдвигает политических теоретиков и... подпольных практиков. В этой теоретической и практической деятельности ведущее значение принадлежит интеллигентской молодежи. Молодежь эта, становясь «отцами», передает свою духовную эстафету «детям». Духовная преемственность продолжается непрерывно с 60-х годов до гибели интеллигенции в огне гражданской войны, до уничтожения ее остатков большевиками в России. Сущность этой эстафеты заключалась в неприятии и отрицании русского исторического пути. Неприятие и отрицание это в разной форме и в разной степени содержится во всех русских либерально-революционных (т. е. интеллигентских) общественно-политических учениях и программах, от кадетских до эсеровских и марксистских.

Среди уцелевшей и ушедшей в великое первое рассеяние части русской интеллигенции началась работа по переоценке идейного наследства в свете апокалиптического опыта русской революции. Работа эта, продолженная и развитая вторым поколением эмиграции, привела к созданию нового синтетического мировоззрения — солидаризма, нашедшего свое политическое воплощение в новой российской политической реальности — Народно-Трудовом Союзе.

## 4

Настоящие художники слышат то, чего не слышат еще другие, даже люди «житейского опыта и мудрости». Художник чуток, он слышит малейшие шорохи времени. И он зорок. Он видит не только то, что рядом с ним, «вокруг», но далеко, так далеко, как не может увидеть ни один специализирующийся на исторических предсказаниях теоретик и фантаст. Он видит на десятилетия вперед. Теоретик и фантаст видят дальше. На столетия. Но когда время приближается, то увиденное теоретиками и фантастами оказывается миражами и галлюцинациями...

Это потому, что предвидение — как зрение. Имеет свои пределы... Дальше же, за пределы зрения, не видно. Дальше можно только гадать... «Зрение», данное художнику, бывает разное. Одни хорошо видят вокруг. Другие — и вокруг, и вперед. На десятилетия. Иногда на много десятилетий...

Бывает так, что художник, которому дано видеть и слышать всё «вокруг» так, как никто другой не видит и не слышит, хочет увидеть и дальше... Но правда жизни сильнее, раз «не дано», значит, нельзя. Значит, не видно. Не видно так, как можно увидеть на десятилетия. И тогда такой художник начинает мечтать. Мечтать далеко. На столетия. И из мечтаний его получается что-то смешное, наивное. И... ужасно заурядное. Что-то вроде чеховского сада через триста лет...

Великий художник может быть великим мыслителем, но может и не быть им. Но даже если он и не мыслитель, он поймет, почувствует, увидит и услышит, а главное, сумеет рассказать обо всем этом лучше и больше, чем иной присяжный философ.

Русскую душу, русскую жизнь, русский быт, русского человека поняли и объяснили десять русских писателей. Пушкин и Гоголь, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, Лесков, Чехов, Бунин и Мережковский.

В России были и другие писатели. Не ниже, а может быть, и выше некоторых из десяти. Но никто не сумел глубже объяснить и понять самое сокровенное в русской душе.

Они видели и слышали то, чего не видел и не слышал еще никто. И умели рассказать об увиденном и услышанном. Так рассказать, как никто другой не умел.

Великий писатель не может подчинить себе творчество. Творчество сильнее него. Потому что творчество — это проявление гения. А гений сильнее человека.

Человек может быть христианином, монархистом, демократом, социалистом и даже атеистом, «даже» — потому что быть атеистом и гением почти нельзя. Гений — это дар Божий, «искра Божия», часть Бога в человеке. Как же можно иметь Бога в сердце и не чувствовать Его? Человек может быть плохим и хорошим, слабым и сильным, добрым и злым. Гений же всегда останется гением, независимым от человека, которого он выбрал своим орудием.

Вот почему «для лакея нет гения», и не потому только, что «лакей» не в состоянии понять и оценить гения, а главным образом потому, что, как писал Шопенгауэр, гений бывает гением

только немного часов в своей жизни. Тогда, когда он творит... Человек становится гением только в делах своих.

Гоголь был христианин и монархист, апологет существующего в России порядка. Но он увидел чичиковых и хлестаковых. Увидел русскую пошлость, грязь, увидел русского черта (Хлестаков — русский черт, страшный своей пошлостью), увидел изнанку русской души. А увидев, не мог не рассказать об увиденном. Не мог, хотя и не хотел рассказывать, потому что хотел видеть другое... Гоголь человека хотел видеть в России — Констанцгло и Муразовых, но Гений Гоголя увидел чичиковых и хлестаковых, маниловых и собакевичей...

Толстой — непротивленец и религиозный искатель, позитивист и народник, «всечеловек», чуждый «национальной ограниченности» — видел и понял душу народа русского на войне и в мире.

Болконский и Вронский — это те люди, которыми держалась Петербургская Россия. Вот они перед нами со всеми своими недостатками и со всей своей силой... Они, конечно, очень разные, такие разные, как сама жизнь. И, кажется, что общего между ними? Блестящий Болконский и весьма обычный Вронский. И в мыслях и поступках они несоизмеримы. Общее то, что как тот, так и другой — люди дела и воли, люди, умеющие хотеть и умеющие осуществлять свое хотение, «строители империи», те немногие герои русской литературы, которые не только объясняли жизнь, но и жили. Болконский объяснял и жил. Вронский только жил.

Каратаев — это две стороны русской народной души: покорность и сила. Сила в долготерпении, в выносливости, в умении приспособиться ко всему и все вынести. И еще — в умении умереть. (Мужики-то как умирают!)

На этих «двух сторонах» стояла Россия...

Пьер и Левин — « зарницы », это мятущаяся, ищащая, кризисная Русь.

Гончаров — это «Обломов», спящая, ленивая Россия, русская пассивность, вторая грань нашего исторического греха; первая — гоголевская грязь и пошлость. Гончаров — это и «Обрыв», обрыв жизни русской, когда дальше идти уже «некуда», дальше — «бесы». «...Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло...»

Гончаров показал тип нарождающегося «революционно-демократического» хама. Третья грань русского греха.

Тургенев впервые назвал по имени этих молодых, плююющих на всё и всех, признающих одну «материю» («сапоги выше Шекспира») и «тело» («роскошное, хоть в анатомический театр»). Всё просто и ясно... От этой простоты и ясности необычайный восторг на душе. Помилуйте, чего лучше: «...при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умён, зол или добр». Ведь в этой базаровской фразе вся суть русского революционного движения заключается! Принципы, идеалы? Гы, гы! слова-то какие смешные, не русские даже! Любовь? Гы, гы! Бабец ничего... подходящий. Россия? Га, га, га! хо, хо! Ох, мочи нет, уморили совсем... Россия, батенька мой, глупость. Вот немцы — другое дело. Немцы народ дельный. Люди эти во времена Тургенева только стали вылезать из своих щелей на свет Божий, но Тургенев их заметил и назвал: нигилисты.

От нигилистов вся «революционная демократия» пошла — и марксистская, и народническая. От нигилистов прямая дорога к «Грядущему хаму». Нигилисты передали свою духовную эстафету следующим поколениям. И эстафету эту приняли.

Тургенев — это еще и русское бессиление. Русское прекраснодушие. Это «идеалисты 40-ых годов», отцы «бесов» (Степан Трофимович Верховенский). Русское прекраснодушное бессиление — четвертая грань русского греха.

В России делать нечего. В России и умирать не за что (это пока еще не за что, вскоре найдут, за что), и тургеневский идеалист едет умирать в Париж. И умирает там за каких-то блузников. Героиня — тоже идеалистка. И тоже не может умереть в России. Идеалистке нужен герой. А в России героев нет. В России только кающиеся дворяне, крепостные мужики да губернские помпадуры. Идеалистка ищет героя и находит его в болгарине, все же свой брат-славянин, да угнетенный к тому же (находит и уезжает умирать в Болгарию).

Чехов — это интеллигентская занудь. Ску-у-у-у-учно, ох, как ску-у-учно, — зевает интеллигент. — Вот бы в столицу! В столице, батенька мой, жизнь... В Москву, в Москву, — бредят наяву сестры.

Но, приехав в столицу или в Москву, интеллигент очень скоро убеждается, что и там скука. В общем, «среда заела».

— Но позвольте, ведь кругом дела непочатый край, оглянитесь только, господин интеллигент.

— Э, батенька мой, какое там дело, когда среда...

Чеховский интеллигент — это тот же Обломов, только лишенный крепостных душ и вынужденный поэтому служить.

Обломов, «оцивилизованный» передовыми журналами и книгами и поэтому несколько попорченный нравственно. Впрочем, «оцивилизован», к счастью, в сравнительно небольших количествах, и поэтому благодушие и благонамеренность душевную он в значительной доле сохранил. Говорят, что Чехов — это «будни». Но в будни надо работать. Чеховский интеллигент пьет, скучает, играет в карты, в лучшем случае служит (очень плохо, впрочем), но работать он не может. Не может, органически не может оглядеться вокруг и взяться за дело... за русское дело.

Чеховский герой (антигерой — сказали бы теперь) может еще и мечтать. Мечты, правда, все какие-то «приземистые». О саде с крыжовником, например, или, как пример самой поэтической мечты, о том, что через 300 лет вся земля вдруг станет сплошным садом — крыжовника, стало быть, будет в избытке... Не правда ли, как трогательно? Всё, дескать, к лучшему идет. Жаль, правда, что через триста лет, — зевает интеллигент, — а сейчас вот скуча, безвременье.

Интеллигент мечтает благодушино, с зевотой. И любит он с зевотой. Позевал, позевал, да вдруг и влюбился в даму с собачкой. Позевал, позевал — и разлюбил. Еще позевал — и пулью в лоб пустил. Зачем? Почему? Ску-у-у-у-учно.

С Чехова в русской литературе появилась тема культурного оскудения, измельчания русских культурных людей, превращающихся в «интеллигентов».

Бунин — это ужас «деревни», вымирание дворянства, обмельчание русского человека, крушение жизни, Великое крушение России.

Лесков — самый русский писатель. Никто не знал так хорошо современную ему Россию, как он. И никто так беспощадно правдиво не изобразил ее и ее людей.

Лесков — не правый, не левый, не монархист и не республиканец. Лесков — русский. Русский прежде всего. Поэтому никто, наверное, за исключением Пушкина, не владел так блестяще настоящим русским языком. Не сословным, а русским. Он был очень страстный человек и бесстрастный писатель. Не олимпиец, конечно, нет, олимпийцем в России быть невозможно (к нашей жизни невозможно было никогда относиться спокойно, «со стороны», мы и зеваем, и скучаем, и бездельничаем, протестуя, просто это наша национальная форма протеста против существующих форм жизни), а писатель, в высшей степени независимый от всяких партий, политических, религиозных и социальных заданий. Поэтому он и остался всем чужим. И нигилистам, и ар-

хиереям. Чужим потому, что на самом деле был свой для всех. Свой для всех явлений русской души и русской жизни. Но и у Лескова не было героев. Были праведники, а вот героев не было.

— А где же русский костяк?

— Позвольте, какой костяк?

— Люди, которыми создавалась и держалась Россия, герои русского дела и русской жизни...

— Хм, хм... не припомню что-то... Вот капитан Тушин разве... Платон Каратаев.

— Позвольте, позвольте, да какие же капитан Тушин и Платон Каратаев герои? Разве что с приставкой «незаметные»... Ну, а ведь у нас были и без приставки. Были же Ермоловы, Скобелевы, Макаровы, Седовы, Менделеевы, Нестеровы, Столыпины... были ведь у них и помощники, строители империи, герои русского дела и русской мысли...

— Болконский вот...

— Болконский — герой двенадцатого года... ну, а потом... да и вообще кто же еще после и кроме Болконского?

— После Болконского..? После Болконского героев не было... то есть в таком стиле... вот человеколюбие было, мягкость там разная, мечтательность, любовь к народу и вообще к ближнему, обличение близк... то есть непорядков русской жизни, я хотел сказать...

— Да нет, не обличение! Напротив, утверждение жизни я имею в виду...

— Эк ведь вы! Утверждение! А если утверждать нечего?

— Так уж и впрямь нечего? Ну, а хотя бы просто воля к жизни где?

— Помилуйте, какая уж там воля к жизни! У нас, батенька мой, гуманность, мягкость, лиризм и вообще жизнь Арсеньева...

— Позвольте, позвольте, я не про то, не про лиризм и загадочность русской души, а про ее силу, про ту силу, что Россию создала... про костяк ее.

— Эк ведь вы, батенька, куда загнули! Костяк да костяк какой-то! Размягчился костяк-то... был да весь вышел...

— Так уж и вышел?

— Совершенно вышел. Вы вот на Нехлюдова хоть посмотрите... Вронский, так тот служить мог... А такой что может? Ничего он не может. Ничего.

— Нехлюдов — совесть русского образованного общества...

— Совесть? Полноте! Не совесть русского образованного общества, как изволили вы выразиться, а бессилие его. Нехлюдов

— Будда русского общества, России, если хотите... А Будда, как известно, приходит к концу, к закату... Да и не Нехлюдов Будда, Нехлюдов — один из образов Будды... Будда — сам его создатель, граф Лев Николаевич Толстой. Только Будда этот неудавшийся.

...Ведь ничего у нас не удалось... ни преобразования, ни реформы, ни парламентаризм, ни революция, ни Будда...

— Значит, кроме Нехлюдова ничего?

— Нет, почему же? Вот еще мелкопоместные Бунина...

— А дальше?

— Что дальше? Всё. Конец. Дальше — бояки Горького и советский маразм.

У Достоевского особое место. Достоевский не только и, пожалуй, не столько писатель. Достоевский — пророк. Пророк России. И пророк грозный. Достоевский видел вперед на десятилетия. И увидел он... бесов. Петр Верховенский — это Ленин в семнадцатом году. Мечты Шигалева — это советчина с 1917 года и по наши дни. Смердяков — это душа революционно-демократически-большевистско-коммунистического хамства. Духовный образ «советского человека».

Без Бога нет морали. Только Бога нельзя обмануть, потому что Бог «всё видит». Нет Бога — нет и морали. Нечем обосновать ее. Нет никакой высшей санкции. Общество? Общее благо? Государство? Но всё это — «человеческое, слишком человеческое» и как таковое не имеет высшего обоснования. Почему Я, живущий на земле временно и только один раз, должен жертвовать собой во имя других? Вот простой, примитивно простой вопрос, на который материалистическая мораль никогда не сможет дать вразумительного ответа. Если нет Бога, то нет и морали, если нет морали, то всё позволено (я живу только раз на земле, и очень немногого, значит, моя жизнь — самое ценное в мире), и если всё позволено, то человек становится на место Бога, он хозяин жизни и смерти как своей, так и чужой. Человек выше Бога, и рай существует только на земле, люди сами должны построить рай (социализм). Для этого, если потребуется, надо уничтожить всех, кто противится этому. Здесь ведь «простая арифметика» для всеобщего счастья, для счастья большинства можно и нужно пожертвовать жизнью меньшинства, раз это меньшинство мешает всеобщему благоденствию. Кровь разрешена по совести. Для всеобщего блага. Цель оправдывает любые средства. Человек — ничто, масса — всё. Человек — для массы, для общества, для

государства, для всеобщего блага, а всех, кто противится, — уничтожить. Вот моральная философия русских революционеров-социалистов, от нигилистов до большевиков. Достоевский рассказал об этом в своих творениях.

В России бесы, но и на Западе ничего. На Западе только «дорогие могилы», торжество мещанина, гибель культуры, развитие цивилизации, закат Европы. Кажется, нет спасения. Надежда только на Бога... Но а если такова Его воля? Ведь пути Господни неизповедимы... Достоевский — пророк. Но Достоевский — и человек. Русский человек. Как русскому человеку ему хочется мировой гармонии, всеобщего примирения. Он устал от ужасов своего видения. Он засыпает. И видит сон. Смешной сон. Смешного человека, — как сказал он, когда проснулся...

Мережковский — не создатель, он — истолкователь. Великий истолкователь русских мыслей, чаяний и надежд. Истолкователь русской литературы. Не критик, а именно истолкователь. И не просто истолкователь, а объяснитель, и в объяснении своем пророк. Грядущий хам стал явью. Явью не только на советчине, где он явился в бесовском обличии большевизма, в виде помеси Петра Верховенского со Смердяковым, но и на Западе, в образе благопристойного и довольного собой и жизнью мещанина, ибо торжествующий хам — это торжествующий и всеобщий всемирный мещанин нашего машинного века.

Грядущий хам оказался хамом торжествующим...

Мережковский был художником русского культурного самосознания. Его герои — это идеи, образы, мысли русского культурного общества. Не столько предвидение, сколько осмыслиение русского прошлого. Отсюда его историчность. Не простая, а философская. Через прошлое — сегодняшнее и будущее. Кроме него, в нашей литературе нет философии истории, данной художественными средствами.

Был еще чудесный поэт Блок. Не писатель, а только поэт, певец России Петербургской. Поэтому он не в десятке, но миновать его просто нельзя. Он много видел и слышал. Хотя не все, далеко не все понял. Антихриста принял за Христа... Но разве он виноват? Ведь еще в Писании сказано: «...многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят».

Русская литература не создала образа настоящего, положительного героя. Не создала его не потому, что такого героя не было вообще, а потому, что сама русская литература создавалась и развивалась в эпоху все усиливающегося кризиса русского об-

щества. Русская жизнь с XIX века вся проникнута ощущением какой-то болезненности, смятенности, фантастичности. И все это, несмотря на кажущееся внешнее благополучие и устойчивость. Неестественно и фантастично, что до второй половины XIX века большинство (огромное большинство) русских людей было рабами меньшинства тех же самых русских людей. Рабство всегда противостояло, но оно становится совершенно *фантастическим, невозможным*, когда рабами является большинство населения цивилизованной страны. В античные времена рабами были иностранцы, побежденные, люди, чужие по крови и духу. В Америке рабами были негры, купленные в Африке. Даже в восточных рабовладельческих деспотиях рабами были побежденные. Рабы — граждане своей страны — во все времена, у всех народов, за редкими исключениями, составляли незначительное меньшинство среди рабов-иностранцев, рабов-побежденных. Только в России огромное большинство граждан были рабами... Русские рабовладельцы не были ни иностранцами, ни замкнутым наследственным сословием. Древних многовековых родов дворянских было немного, значительная часть рабовладельцев была не древней породы, сами выходили из рабов выслугой либо личной, либо во втором; много в третьем поколении. Это создавало еще большую неестественность и фантастичность в жизни русской. С развитием в России культурных начал, с проникновением в неё западноевропейских идей и гражданственности, русский рабовладелец всё больше и больше терял уверенность в своем праве на крепостные души. Он не мог отказаться от этих душ, потому что был человек, обыкновенный человек, а обыкновенному рядовому человеку, конечно, весьма трудно добровольно отказаться от унаследованных, а тем более приобретенных привилегий, богатства, власти, даже если он начинает смутно осознавать, что все эти привилегии, богатства и власть находятся в противоречии с религией, моралью и национально-гражданским чувством. Раньше, во времена Московской Руси и петербургских императриц, всё было ясно и определенно. Существующий порядок, а стало быть, и рабы были от Бога. Ибо «искони было так и иначе быть не могло». Дворянин даже и не думал об этом, настолько это было просто и ясно. Впрочем дворянину и некогда было думать. Ему надо было служить, сражаться, делать карьеру. Думать он стал потом, когда получил вольность дворянскую, стал ездить за границу, почитывать иностранные книжки, главным образом французские. Тогда ему стала все чаще и чаще приходить в голову смутная мысль, что «всё как-то не то...» Вначале

он гнал от себя эту мысль, да и сама мысль была очень уж неопределенная, «оно хоть и не то, да искони у нас так, и иначе нельзя, народ у нас необразован и ленив, это не французы и не немцы даже...» Потом, по мере того как дворянин всё более и более цивилизовался, мысль о том, что всё «не то», становилась всё настойчивее и настойчивее, пока не перешла в уверенность. С того времени всё смешалось, наступил страшный разлад русского дворянского сознания. Будучи уверен, что «всё не то», дворянин был не в силах отказаться от всех тех преимуществ, которые ему давало это «не то». Отсюда пошли «кающиеся дворяне», отсюда дворянско-интеллигентская беспочвенность, истеричность сознания, вечная раздвоенность, недовольство собой и окружающим, трагичность жизни. А из этого в свою очередь вытекало безволие, фантастичность, наклонность к крайностям, чувство собственной неполноценности. От дворянства эта ущербность сознания перешла в качестве «культурного наследства» на интеллигентию — класс еще более болезненный, еще более лишенный традиций и почвы.

Недовольство жизнью, внутренний, скрываемый и уже не скрываемый стыд за себя, за свое бессилие, за свою неправду всё более и более охватывали русское общество, пока наконец не стали почти всеобщими.

Высший класс общества понемногу совсем потерял веру в свое право. В право на господство, на руководство, на пользование благами жизни. Если люди теряют веру в свое право на господство, они теряют и само господство.

Когда были проведены реформы, было уже слишком поздно. Развращенные и ослабленные даровыим трудом, привыкшие к праздной бездеятельности и мечтаниям, потерявшие от самобичевания веру в свои силы и остаток воли, вчерашние рабовладельцы оказались совершенно не способными к жизненной борьбе.

Эту раздвоенность, эту смятенност, это сознание надвигающейся катастрофы почувствовали русские писатели. Это было главное в русской жизни — её фантастичность, её неудовлетворенность, катастрофичность сознания. Поэтому и не было героя, не было «строителя империи».

Только Пушкин мог еще быть гармоничным. Он мог быть гармоничным не только из-за особенностей своего таланта и своего характера (кстати, не отличавшегося гармоничностью), но и из-за «особенности времени». Сомнения в своем праве на власть

среди русского дворянства во времена Пушкина только начинались. Самобичевания же и вытекающей из него неврастении вообще еще не было. Поэтому Онегин (как и Чацкий) не столько «выражал» собою внутренний кризис русского общества, сколько «отражал» модные западноевропейские теории и настроения.

В последекабристской поэзии Лермонтова мотивы разочарования и неудовлетворенности получили более глубокое развитие. Тем не менее глубина русского духа и русской жизни получили у Пушкина более разностороннее отражение. Творчество Лермонтова было ещё слишком юношеским и потому подверженным внешним западным влияниям, более заметным. Гений Лермонтова не уступал Пушкинскому гению, а может быть, даже и превосходил его, но он не успел развиться, не успел сделаться в полном смысле национальным, народным. Двадцати шести лет слишком мало даже для такого гения, как Лермонтов...

Русская литература была литературой молодой и о молодых. Пожалуй, ни в одной другой литературе не встретишь так много молодых героев, как в русской. Впрочем, других героев, кажется, и не было вообще. Умудренных опытом фаустов у нас нет и быть не могло. Даже сорокалетние встречаются редко и выглядят как старики. Не потому ли, что вся она была устремлена в будущее, потому что только и можно было жить верой в будущее...

Русская литература отразила и показала русскую жизнь и русских людей XIX и начала XX века, как не могло этого сделать ни одно историческое или философское исследование. Ведущим «слоем» русской жизни этого времени была молодежь. Русская литература показала и объяснила, чем и как жила эта молодежь.

Русская литература — не зеркало русской жизни. Зеркало только отображает. Отображает внешнее. Русская литература не только отображает внешнее «тело», она «отображает» и внутреннее: «душу» России, русской жизни, русского человека. И не только отображает, но истолковывает, объясняет. И не только то, что есть «сейчас», но то, что «будет», то, к чему «идет».

Русская литература — не зеркало, а философия русской жизни, русского духа.

Вы хотите знать и понять русскую душу? Читайте русскую классическую литературу.

## 5

С 60-х годов болезнь исторической России непрерывно прогрессировала. Россия была смертельно больна и металась в бреду. Бессмысленное и гнусное убийство царя... Царя-Освободителя, царя-реформатора... Нигилистическо-революционное бесовство, с попытками нового самозванства (дело Дейча), с убийствами и поджогами... Радость по поводу русских неудач в 1905 году, помещичьи «иллюминации» (по гнусному выражению одного известного либерального деятеля), кровавые бунты и убийства на улицах среди белого дня представителей власти, от городового до министра. Деморализация администрации («положение хуже губернаторского»), «Дума народного гнева» с её призывами не подчиняться властям. Всё это со стороны либерально-революционно-демократической «общественности». Со стороны же правительства — бессмысленный и преступный расстрел безоружной демонстрации с хоругвями и царскими портретами, кровавое подавление забастовок, пример, играющий на руку врагам трона и ненавидящим его сторонников; директор департамента полиции, становящийся политическим эмигрантом и выдающий революционерам своих секретных сотрудников, губернатор-большевик, невиданное разложение в придворных сферах и как венец всему распутинщина... Всё это с полной неизбежностью привело тяжело больную Россию к февральскому параличу и смерти в октябре того же семнадцатого года...

С 60-х годов дворянство не только непрерывно разорялось и теряло свои земли, а вместе с землями и свое общественное положение, но оно теряло и несравненно большее: веру в справедливость своего господства, веру в себя. На смену кающемуся дворянину пришел дворянин беспочвенный. Беспочвенный не только в прямом, но и в переносном смысле слова...

Неуверенность, страх и предчувствие какой-то надвигающейся катастрофы все больше и больше охватывали дворянскую интеллигенцию. Настроения эти стали распространяться к концу века и на широкие интеллигентские слои. Чувствовалось, что дальше «так» продолжаться не может, что «должно что-то случиться».

Поэтому идеи западноевропейского декаданса получили в русской культурной среде широкий отклик и понимание. Дело здесь было не в одном механическом восприятии очередной западной идейной моды. Дело было в том, что «мода» эта очень уж пришла ко двору... Если политические идеи декабристов были

совершенно чужды историческим задачам, стоявшим перед Россией, то культурные идеи европейского декаданса вполне отвечали неестественному всей русской жизни и вытекающему из этой неестественному сознанию, что «далее так продолжаться не может».

На Западе декаданс — итог по крайней мере 500-летнего культурного развития. Итог естественный и закономерный. Наш декаданс — итог 50-летнего развития... Увы, итог тоже естественный и закономерный. За насильственно прерванное и искаженное могучей рукой национальное развитие пришлось расплачиваться ранним старением и преждевременной смертью. За столетний блеск русско-европейской культуры петербургского периода — культурная смерть в темную ноябрьскую ночь... Не слишком ли дорогая цена? Ведь Россия — это не страна, не государство. Россия — это часть света, это культурно-историческое целое, как Европа или Азия... Почему же смерть? Не потому ли, что все мы оказались недостойными нашего исторического призыва? Высший слой общества оказался недостойным своего призыва, потому что отказался от родной почвы, стал «иностранцем в своей стране».

В блеске русской европейской культуры почти с самого начала был заметен болезненный чахоточный румянец... Культуру эту создали рабовладельцы... А их рабами был весь русский народ. Сознание несправедливости и невозможности такой жизни все больше и больше охватывало русское культурное общество, но привело его только к неврастении, упадочничеству и к предчувствию неминуемой катастрофы...

Русский простой народ также оказался недостойным своей Великой Родины, предав ее на фронте в семнадцатом году, надругавшись над ней и отказавшись от нее в годы гражданской войны.

Идеи западного декаданса были восприняты и развиты наследниками, продолжателями русской классической литературы. Это была столбовая дорога русской литературы. Даже отрицающие и протестующие против декадентства писатели не избежали его влияния (Бунин); как классическая, так и сменившая ее модернистская (включая сюда и декадентов) литературы были умом и совестью России, философией русского духа.

Другим путем пошла обособившаяся от классики сословная интеллигентская литература. Начав с бунта против Пушкина и эстетики (содержание выше формы), она пришла от Писарева,

Чернышевского и Добролюбова, через Горького и Маяковского, к советскому маразму. В лице своих лучших представителей русская литература периода советского маразма, пройдя через модернистские поиски, возвратилась к заветам классики. Это особенно ярко выражено на примере Б. Пастернака и его замечательного романа.

## 6

Русская молодежь второй половины XIX и начала XX вв. почти сплошь революционна. Один студент спрашивает другого: кто он, эсер или эсдек? Этот вопрос такой же естественный, как спросить, на каком курсе вы занимаетесь?

Молодые люди, настроенные антиреволюционно или по крайней мере аполитично, встречаются редко.

Русское революционное движение было движением молодых; если среди руководителей встречались немолодые люди, то революционные массы, ударные силы революции состояли в подавляющем большинстве из молодых людей.

Революционные идеи стали модой, общепринятым «хорошим тоном». Средние интеллигенты просто боялись прослыть недостаточно «прогрессивными» и «передовыми» и, не дай Бог, «реакционными».

Но когда антиправительственные идеи становятся «модными», то это неизбежно означает, что социально-политический строй полностью исчерпал себя и обречен.

Социально-политический строй Петербургской России полностью исчерпал все свои живые соки и был обречен на смерть.

Молодежь — будущее страны — была наследственно враждебна ему. Социальная база этой враждебной молодежи непрерывно расширялась. В начале и еще в середине XIX века эта молодежь была почти сплошь дворянской. С 60-ых годов она стала разночинной, интеллигентской. К концу века значительное меньшинство этой молодежи состояло из рабочих и рабочей интеллигенции. В начале XX века среди этой молодежи все чаще стали встречаться крестьянские парни...

Слова «революционный», «революционер» в приложении к противникам русского исторического строя стали общепринятыми (вернее, всегда были таковыми) и само собой разумеющимися, не вызывающими никаких споров. «Там реакционеры, здесь революционеры». Ясно. Просто.

Однако попытаемся разобраться, насколько русские «рево-

люционеры» были действительно носителями «революционной» идеи.

Революция — не только разрушение, не только уничтожение старого, отжившего, революция — это и творчество, создание нового, идущего неизбежно на смену старому. Разрушение во имя разрушения — не революция, а бунт. Смена владык и названий при сохранении старой сущности — тоже не революция. Такая смена, даже при расширении социальной базы, не изменяет духа, не меняет сущности человеческих отношений. Таким образом, христианство, например, изменившее отношения между людьми, изменившее сущность жизни, было революционной идеей, а установление империи в Риме ни в коем случае революцией не являлось; хотя оно и расширило социальную базу нового порядка, но не изменило сущности жизни, не изменило духа людей.

Политическая революция только тогда является творческим, созидающим актом, когда она национальна, т. е. ее идеи определяются историческим прошлым народа, отвечают его духовному складу и национальному характеру, его быту, его духовно-моральным ценностям, государственным задачам внешней политики. Иными словами, революция — это дальнейшее органическое развитие народа и государства, с уничтожением всего того, что мешает этому развитию. Поэтому цели и задачи, стоящие перед революцией, всегда должны соответствовать историческим целям и задачам и определяться политической необходимостью момента. Поэтому революция присуща только на определенном этапе исторического развития. Поэтому революция никогда не может быть предметом экспорта.

Революция устраниет всё, что мешает развитию национального духа, национальной идеи. Новые духовные ценности, создаваемые революцией, вытекают из старых, исторически присущих народу духовных ценностей. Революция не отрицает народно-государственный идеал, а, напротив, утверждает его. Победа революции есть утверждение государственной мощи. Развив «свое» и утвердив его, революция делает это «свое» достоянием «всех». Идея становится всемирной через свое национальное развитие.

Таковы были Английская и Французская революции.

Английская революция — глубоко национальная по своему духу и задачам и всемирная по своим идейным результатам.

В национальном плане революция явила завершением борьбы англосаксов с норманами, окончательным слиянием двух этнических групп. Антинациональные «континентальные» попытки двора усилить королевскую власть в противовес сложившимся национальным традициям «хартии вольностей» были сломлены революцией. Хотя «Великая хартия вольностей» не была англосаксонским государственным учреждением, тем не менее к XVII веку она стала составной частью английского быта и самосознания. Попытки к усилению королевской власти имели французский образец, опирались на континентальные идеи и традиции.

Глубоко национальной была и идея религиозной реформы, столь присущая германскому духу. Здесь следует заметить, что английские «норманы» XVII века были наследниками не исконного норманско-скандинавского духа, а своих о francaуженных предков. Таким образом, борьба шла между остатками французского культурного влияния (норманы) и местными германскими духовными традициями (англосаксы).

Идеи религиозной независимости и политических прав были главными идеями Английской революции. Идеи Английской революции легли в основу идей Американской революции. Именно в Америке они получили свою республиканскую, пуританскую форму.

Парламентская форма демократии, религиозная свобода и права личности — вот духовные ценности, которые Английская революция, утвердив у себя, внесла в общую сокровищницу человеческого духа.

Английские идеи оказали серьезное влияние на идеологов Французской революции — т. н. «просветителей». Однако «практики» Французской революции руководились не английскими, а французскими (во всяком случае, переработанными на французский лад) идеями, составляющими духовную сущность французского народа.

В национальном плане революция была завершением борьбы между галльским почвенным началом (буржуазия) и франкским верхним слоем (дворянство, рыцарство, аристократия).

В философско-политическом отношении сущность идей Французской революции состояла в эгалитаризме, атеизме, цезаризме, политической демократии.

Французская революция была менее национальной и более социальной, чем Английская, потому она и менее «удалась».

Всякая революция проходит три этапа своего развития.

I этап: отрицание; период революционной борьбы, смены возникающей в процессе революции формы власти.

В свою очередь он подразделяется на три периода.

1-й период: борьба за свержение старого порядка и установление революционной власти. 2-й период: борьба внутри победившей революционной партии, борьба за «формулу революции». 3-й период: «формула» создана, революция несет ее на своих штыках в мир, революция принимает военный агрессивный характер, возникает военная диктатура.

II этап: отрицание отрицания; революция исчерпала свои живые созидательные силы; общее разочарование; наступает реставрация.

III этап: творческий синтез; новая революция сметает реставрацию, успевшую слишком далеко зайти в своем реакционном движении; порядок, созданный в результате нового политического переворота, является синтезом старого и нового, идей революции и идей исторического правопорядка.

В Английской революции I этап — это собственно революция, время с 1640 по 1660 год. Причем 1-й период падает на 1640 (созыв «Долгого парламента», казнь Страффорда, дальнейшее ограничение королевской власти, гражданская война) и кончается приблизительно 1647 годом, т. е. окончанием гражданской войны и потерей королем реальной власти. Первая задача революции выполнена. Старая власть свергнута.

2-й период: борьба между пресвитерианами и индепендентами; преследование католиков и левеллеров; республика, протекторат, разгон остатков «Долгого парламента».

Формула революции найдена. Это — пуританство, национальная внешняя политика, господство Англии на морях. Для мира — лозунги свободы вероисповедания и свобода торговли. Управление государством в национально-религиозном смысле. Приблизительно с 1647 по 1653 гг.

3-й период: революция принимает военно-агрессивный характер. Устанавливается военная диктатура — протекторат. Внешние войны. Сломлен главный конкурент Англии на морях — Голландия. Закончена историческая задача объединения трех островных государств. Навигационный акт, утвердивший господство английской морской торговли, т. е. основы политической и экономической мощи Англии. Утверждение английских национальных, экономических и религиозных интересов. Твердая национальная внешняя политика. 1653-1660 гг.

II этап: народ устал от тяжести военной диктатуры, одно-

образия строгой пуританской жизни, господства армии. Историческая задача революции выполнена. Дальнейшее существование революционной диктатуры — тягостный анахронизм. Диктатура вырождается в анархию. Переворот Монка. Народ с восторгом встречает Карла (Реставрация, 1660-1688). Правительство реставрации — компромисс между революцией и старым порядком. Компромисс временный, только намечающийся.

III этап: реставрационный; заходит слишком далеко; на престол вступает король-католик. Угроза протестанству. Реставрация переходит в реакцию. Свержение правительства реставрации, «Славная Революция». Новая династия. Конец революционной эпохи. Великий исторический синтез. Создание нового послереволюционного порядка. Создание Новой Англии. Короли милостью парламента. Парламентский строй. Развитие парламентской демократии и веротерпимости. Парламентская форма демократии, религиозная свобода, права личности обеспечены, развиваются; отныне это — английский национальный путь развития, духовно-политическая идея английского народа. Революция закончена. Наступило время эволюции.

Революционная эпоха, приведшая в Англии к победе и окончательному установлению национальной государственности нового времени, продолжалась сорок восемь лет...

Французская революция не носила, в противоположность Английской, целиком национальный характер. Даже на самую ее идеологию оказали большое влияние чужие, английские образцы, в то время как английские идеологи черпали исключительно из национального источника. Кроме того, национальный характер Французской революции отяготил значительно более ярко видимые социальные мотивы. Объясняется это в первую очередь тем, что Франция, в противоположность Англии, была страна более отсталая в политическом (абсолютизм исторически перерос себя, Генеральные штаты не созывались с 1614 года), экономическом (упадок буржуазии после религиозных войн), социальном (резкая разница в правах сословий, гнетущая бедность народа и обеспеченная жизнь дворянства) и даже культурном отношениях (искусственность французской «парниковой» культуры, ненародность ее, вырождение в творчестве «просветителей» с их осмеиванием святынь и с их утопическими, оторванными от живой жизни «бумажными» теориями).

I этап Французской революции: с 1789 до 1815 года.

1-й период: с созыва Генеральных штатов в 1789 году до лишения короля власти в 1792. Первая задача революции выпол-

нена. Старый порядок перестал существовать. Перед Францией открылись новые исторические перспективы. Провозглашены знаменитые принципы революции: свобода, равенство и братство. Два первых составляют сущность Французской революции. Третий носит декларативный характер. На этих двух принципах основана французская политическая демократия, в отличие от парламентской английской, основанной не на идее равенства всех, а на идее прав отдельной личности.

2-й период: ожесточенная борьба среди победителей. Революция принимает всё более радикальный характер. Три лозунга революции входят в ее «формулу». Попытка внести в эту «формулу» атеизм (деизм Робеспьера с его «культом верховного существа» — в сущности, только «введение» в атеизм). Попытка не удается. Революция несет идеи на штыках в Европу. Она расширяется территориально. 1793-1799-1800 гг.

3-й период: военная диктатура. Консульство и, как завершение идеи цезаризма, — империя. Империя — это составная часть французского национального духа, получившего свое развитие в революции. Это — цезаризм, присущий французской нации.

Борьба с религией временно приостановлена. Она не вошла пока в «формулу». Заключен конкордат. Создана французская национальная форма государственности (департаменты — 1789 год), Наполеоновский кодекс придал содержание государственной форме.

Окончена гражданская война. Проводится политика национального примирения и единства. Только в этой обстановке департаменты, созданные еще в 1789 году, правильно функционируют. Французская национально-государственная идея преобладает над революционными принципами, которые всегда были только ее прикрытием. Революция вступает в открыто империалистическую стадию.

II этап. Реставрация. 1815-1848 гг. Революция еще не исчерпала свои силы. Она сломлена военной борьбой, а не духовно. Хотя налицо усталость и разочарование, они еще не настолько всеобщи, чтобы большинство народа желало реставрации. Благодаря тому, что социальные противоречия во Франции XVIII-XIX вв. были более обострены, чем в Англии XVII в., борьба носит более затяжной и непримиримый характер. Революция происходит в период промышленного переворота, поэтому в борьбу непрерывно вступают все новые и новые слои народа, которые выдвигают свои классовые требования. Реставрация в 1815 г. преждевременна, к тому же она принесена на иностран-

ных штыках. Реставрация, как и в Англии, — попытка компромисса между старой королевской Францией и новой революционной. Так же, как и в Англии, реставрация переходит в реакцию (компромисс не удался, он слишком искусствен, не «историчен», не «органичен»). Однако попытка «Славной революции» во Франции не удается. Июльская монархия — не синтез, а продолжение реставрации, только более демократизированной.

3-й этап. Синтез. Так как революция не удалась и не выполнила своих исторических задач, следует ее повторение (т. е. продолжение с теми же периодами). 1848 год, февраль, — свержение старого порядка, т. е. королевской власти, внутренняя борьба (июньские дни), военная диктатура — цезаризм (1852 г. — Наполеон III). 3-й этап, этап синтеза, растянулся на двадцать три года и включил в себя повторение революции со всеми тремя периодами. Только провозглашение Третьей республики в 1871 г. ознаменовало собою для Франции прекращение революционной эпохи и создание нового послереволюционного порядка. С 1871 г. для Франции кончилась революция и наступила эволюция. Республика выполнила и богоchorческую задачу революции, она стала вполне атеистичной, «свободомыслящей». «Формула» революции — эгалитаризм, политическая демократия, свободомыслие получили свое окончательное завершение. Это то, что Новая Франция дала миру. Таким образом, для окончательной победы идей революции и для окончания революционной эпохи у Франции потребовалось 82 года.

Идея цезаризма, столь присущая французскому национальному духу, идея, к которой французы так настойчиво возвращались в революционную эпоху, была дискредитирована Седаном и подавлена демократией. Однако идеи, внутренне присущие нации, не могут исчезнуть. Идея эта, сильно смягченная демократией и общим упадком французского народа, получила свое воплощение в наше время, в деголлевской конституции, с ее системой плебисцита и сильной президентской властью. Поэтому свою законченную государственно-политическую систему (такую законченную, как в Англии, например) Франция получила только во второй половине XX века. Увы, слишком поздно...

Русская революционная идея не была национальной ни по своему происхождению, ни по своим задачам, начертанным в программах революционных и социалистических партий.

Социализм, парламентаризм, политическая демократия арифметического большинства были глубоко чужды и не нужны русскому самосознанию. Они были чужды ему не только по иностранным названиям (значит, таких понятий и нет в русской жизни), но и по самой своей сути. Русская община — не социалистическая ячейка (её экономическая сторона основана на морально-духовном понятии «мира», специфически присущем славянской душе, тогда как, наоборот, у социалистов «бытие определяет сознание»). Земский собор — не парламент (земский собор — это идея общности Земли, государства, идея единения царя и народа, *лучшие люди земли собираются для помощи царю, а не для контроля за ним*, на Западе же как раз наоборот, парламент — собрание не доверяющих друг другу сословий, собранных для контроля над властью, которой они сообща не доверяют), русское представительство — не политическая демократия большинства (на собор выбирались и «кооптировались» «лучшие люди» земли, т. е. люди, могущие там быть по своим заслугам, по должности, по положению, по царскому доверию; политикачество и механические выборы «по большинству и от всех» были чужды русскому сознанию). Русское государственное сознание, так же как и русские экономические и социальные учреждения, так же как и весь моральный и духовный склад русского человека, определяются особенностями русско-славянской души и русской историей. Волею судеб Россия была отделена от Западной Европы и шла своими, не похожими на другие, путями... Русский удельный князь — не западноевропейский феодал, царь — не король-сюзерен, и наш купец и посадский — не буржуа и не бургеры... У Западной Европы общая и тесно связанная и переплетающаяся история, свои выработанные этой историей духовные ценности: феодализм, католицизм, протестантство, парламентаризм, политическая демократия, разделение властей, социализм... У нас — свои пути, своя историческая судьба и свои духовные ценности... В культурно-историческом смысле мы — не Европа и не Азия; мы — часть света...

Русская революционная мысль была очень далека от этих аксиом. Если марксисты прямо объявляли себя учениками и последователями Маркса и механически переносили на русскую почву все его социологические и экономические схемы, то народники, беря в основу русскую жизнь, объясняли ее при помощи западных экономистов, социологов и мыслителей. Русская революционная идея не была русской. Это был перевод с немецких и

французских изданий, и перевод плохой, порой просто неграмотный.

Во всех русских революционных программах поражает, прежде всего, отсутствие национально-государственного не то что мышления, а просто чувства. Легкость, с которой русским окраинам и областям давалась «независимость» (а области эти и окраины не только обильно полны русской кровью, но теснейшим образом связаны с Россией, связаны экономически, географически, культурно, духовно; наконец «национальные чаяния» населения этих областей зачастую просто *придуманы* кучкой местных интеллигентов, стремившихся к политической власти), просто поразительна... Впрочем, если учесть, что больше половины «русских» революционных вождей были не русские по своему происхождению и крови, то легкость, с которой они предоставляли всем желающим пресловутое «право на самоопределение, вплоть до отделения», станет более понятной... Легко торговаться чужим наследством, когда не приобретал его и когда умерший не только «эксплуататор», но и представитель ненавистной «угнетающей» национальности.

Нелепость практических предложений, содержавшихся в революционно-социалистических программах, прямо поразительна для «свежего человека», не вращающегося в кругу идей революционно-социалистической интеллигенции. Чего, например, стоит пункт о всеобщем вооружении народа, отмена постоянной армии и выборность командиров. И это не в XVIII, а в техническом, машинном XX веке! Самое нелепое и бессмысленное в этом было то, что «товарищи» выдвинули это требование не в демагогических только целях, но и пытались его осуществить на практике, как только дорвались до пирога (власти). И это относится не только к большевикам, но и к февральской «революционной демократии», развалившей русскую армию и превратившей солдат в митингующую толпу «сознательных граждан». Другое общее для «товарищей» требование знаменитой тогда «четыреххвостки» (т. е. проведение в *неграмотной*, политически невежественной России «всеобщих, тайных, прямых и равных» выборов в «российский парламент») носило уже менее «невинный» характер. «Товарищи» (по крайней мере, многие из них) хорошо знали, что такое демагогия, что такая невежественная масса и что такое власть...

Однако, несмотря на ничтожество вождей, несмотря на нелепость и вздорность программ, несмотря на глупость и злобную подлость «товарищей», революция в России победила.

Победила она не потому, что вожди были гениальны и «предусмотрели все» (как раз наоборот!), не потому, что гениальные теоретики создали гениальные теории (как раз наоборот!), и не потому наконец, что народ пошел за вождями (как раз наоборот, вожди были вынуждены пойти за массами и показали свое полное бессилие и незнание жизни в период русской «демократической республики» февраля-октября 1917 года, развязав самые низменные инстинкты масс и идя на поводу их, как это было с большевистскими главарями в гражданскую войну, вынуждены уступать народу, как это было с ними в период нэпа, и вынуждены, вопреки своему интернационализму, выполнять национальные задачи России, как это было с ними позже). Революция победила потому, что не могла в сложившихся условиях не победить. Победила потому, что пришло ее время; победила потому, что противостоящие ей силы заранее признали свое поражение; победила потому, что она, вопреки своим главарям, также носила в основе своей национальный характер, хотя и в значительно меньшей степени, чем Французская революция, национальный ее характер всячески задерживался,искажался и подавлялся антинациональным и инородным «руководящим ядром».

# О западной культуре

Д. Орленин

## ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ — ПОЭТ ЧЕРНОЙ АМЕРИКИ

В наши дни, когда произведения африканских писателей во всё возрастающей мере читаются и вне Африки, когда пьесы, содержащие будто бы исключительно африканскую проблематику, ставятся на европейских сценах, никто уже не удивляется появлению негритянского писателя. Тем не менее черные поэты и до сих пор представляют собой редкое исключение. Кое-какие сборники африканской поэзии нам известны. Но как обстоит дело с поэзией у американских негров, проблематика и умственный склад которых совершенно иные, чем у африканцев?

Если произведения американских негров становятся известны и за границами Америки, то мы обыкновенно сталкиваемся только с прозой. Негритянских поэтов мало, и даже в самой Америке они малоизвестны. В прошлом году в «Литературной газете» (№ 23, 1967 г.) появилась маленькая заметка по поводу смерти 65-летнего поэта и прозаика Ленгстона Хьюза. Среди американских негров Хьюз несомненно самый значительный поэт; его проза, на мой взгляд, не столь значительна, хотя и небезинтересна в спектре всей негритянской прозы Америки. В упомянутой заметке писалось, между прочим, что «Хьюз прошел жестокую школу жизни: ему пришлось переменить множество профессий — работать грузчиком, официантом, матросом.»

Ленгстон Хьюз родился в 1902 году. Его отец был адвокатом, мать — учительницей. Молодому Хьюзу вовсе не «пришлось» менять множество профессий. Скорее его характер заставлял его бродить по белому (!) свету, работать моряком, швейцаром, поваром, или же просто бродяжничать по Италии, чтобы знакомиться с жизнью. Он чувствовал глубокую симпатию к бедным, необразованным неграм в южных штатах США и тяжело переживал, что сам он не так беден и что жизнь бедняков знает только по рассказам своих товарищих. В автобиографии он пишет: «Идеи для моего первого рассказа уже долгое время были у меня в голове. Я хотел написать о типичной негритянской семье на Среднем Западе, о таких людях, каких я знал в Канзасе. Но моя

семья не была типичной негритянской семьей. Моя бабушка никогда не стирала для других, никогда не работала служанкой и не часто ходила в церковь ...она говорила на чистом английском языке, без следа диалекта (столь типичного для негров в южных штатах и столь важного в поэзии Хьюза — Д. О.). ...Мой отец жил в Мексико Сити. Мой двоюродный дядя был членом конгресса». Для своего первого рассказа Хьюз должен был искусственно создать вокруг себя ряд несуществующих теток, похожих на теток детей, которых он знал в детстве и которых считал более типичными неграми, чём своих собственных родственников. Это — одна из характерных черт умственного склада американского негра в эпоху больших общественных сдвигов: писатель считает себя обязанным изображать бедняков, с которыми по собственному опыту он уже не знаком.

После своего бродяжничества по Мексике, Западной Африке, Франции, Италии и Испании, Хьюз вернулся в Америку и поступил в университет. В 1926 году он опубликовал первый сборник стихов «Грустные блюзы», который принес ему известность. За «Грустными блюзами» последовало семь поэтических сборников, романы, рассказы и пьесы. Диапазон его литературной деятельности оказался широким, но здесь мне бы хотелось остановиться на нескольких тенденциях в его поэзии, которую я считаю важнейшей частью его творчества.

В основе поэзии Ленгстона Хьюза, конечно, лежит проблематика американского негра. Чувствуется поиск своего значения, собственной позиции. Черный американец знает, что цвет его кожи во многом ограничивает его возможности, но тем не менее он в глубине своей души — американец и, кроме цвета кожи, с африканцем ничего не имеет общего. Из этого сознания возникает совершенно специфическая тематика негритянской литературы в Америке. Часто в его поэзии чувствуется горе, вызванное не только положением негра в обществе, но и ложью, неискренностью этого общества. Так, например, стихотворение «Беженец в Америке» самим своим названием уже указывает на раздвоенное душевное состояние негра. Он живет в Америке, но он беженец. При этом он не в состоянии даже указать на направление своего бегства. Откуда и куда он бежит? Одна эта строка — «Беженец в Америке» — передает чувства человека, находящегося в заколдованным круге. Первая половина этого восьмистишия выражает радость, вызванную такими «словами, как свобода». Они «весь день и каждый день» охватывают все человеческое существо. Но

этой радости противопоставляется второе четверостишие: «Есть слова, как свобода, /которые меня чуть не заставляют плакать./ Если бы вы пережили, что я пережил, /вы бы знали, почему». Этот беженец восхищается словами о свободе, но ежедневный горький опыт настоящей жизни показывает ему, что это только пустые слова.

Однако в своих стихах Хьюз выражает не только горе, вызванное бедственным положением негров, но поднимает и вопросы будущего своей расы. Какая будет реакция этих людей на ложь белого общества! Покамест настоящая свобода может быть только мечтой для негра. Но «что случится с отсроченной мечтой?» Этот вопрос висит над Харлемом. И если Хьюз в конце стихотворения под названием «Харлем» спрашивает, осядет ли эта мечта тяжелым грузом «или же взорвется она?», то эти слова нам невольно напоминают происшествия «горячего лета» в больших негритянских центрах в 1967 году.

Отчаяние звучит в некоторых «блюзах». «Блюз идущего на Север» содержит в себе выражение чувств, общих для негритянского населения тридцатых годов. В сельскохозяйственных районах Юга негр не имел возможности получать не унижающего его человеческое достоинство заработка. В северных штатах, напротив, промышленность нуждалась в рабочей силе. Там негр мог хорошо зарабатывать и одновременно подниматься по ступенькам социальной лестницы. Но переезд на Север был связан с потерей семейных привязанностей. Негра внезапно охватывало чувство одиночества в чужой, враждебной среде. Так, например, в этом блюзе повторение глагола «ходить» и крайне частое появление существительного «дорога» указывают на постоянное движение в неизвестность, которое чуть ли не напоминает судьбу вечного жида. И в течение всей этой дороги одиночество лежит на человеке величайшей тяжестью: «Должен найти кого-нибудь, /кто мне поможет носить это бремя» ... «Хотелось бы встретиться с хорошим другом, / который бы пошел со мной и говорил».. «Господи, я ненавижу быть одиноким, / ненавижу быть одиноким и грустным, / но когда друга найдешь, кажется, он старается делать тебе больно».

Там, где негр имеет возможность зарабатывать, на Севере, человеческие связи теряются, окружающий мир оказывается враждебным, холодным: «Когда я был дома, / солнечный блеск казался золотом... С тех пор как я пришел на Север, / весь земной шар стал холодным». Наивный мальчишка, привыкший к спокойной жизни на Юге и к искренности своего окружения, разочаро-

выивается в людях: «Я влюбился в девушку,/ о которой думал, что она милая... Из-за нее я потерял свои деньги./ И чуть с ума не сошел». Оканчивается «Блюз бедного мальчика» сожалением, что он родился.

Резкие перемены в обществе, благодаря введению новых законов, особенно после войны (была проведена интеграция вооруженных сил, и началась постепенная интеграция школ), заставляют поэта сомневаться в эффективности таких мероприятий. Так, он пишет балладу о «Поезде свободы», который в 1947 году проезжал через все штаты США, чтобы показывать людям исторические документы — декларацию независимости, декларацию прав человека и хартию ООН. Эта баллада начинается с описания радости негра, услышавшего о «поезде свободы». Он хочет узнать, нет ли черного входа в этот поезд для негров, и «есть ли у каждого право входить в поезд свободы?» Как ему объяснить своим детям, что свобода — разная для белых и негров? И здесь упоминается самый болезненный вопрос послевоенного времени: негры имели право умирать за Америку, имеют ли они также право свободно жить в ней? «Одного внука звали Джимми. Он умер у Анцио. /Он умер по-настоящему. Это не было для показа./ Свобода, которую везут на поезде свободы,/ настоящая она — или просто для показа?» Однако в последних строчках этого стихотворения звучит не только сомнение, но и надежда, что в один прекрасный день и белые и черные солдаты смогут сказать, что у них дома есть поезд для всех.

Принимая во внимание жизненный опыт негров, легко понять отчаяние и сомнение, звучащие в стихах негритянского поэта. Но в стихах Ленгстона Хьюза мы также находим уверенность, что жизнь изменится к лучшему для черного американца. В стихотворении «Я тоже» говорится о негре, как о брате, который, когда приезжают гости, сидит еще на кухне, но завтра будет есть за общим столом, и «тогда/ ни у кого не хватит смелости/ сказать мне: /«ешь на кухне»». Оканчивается это стихотворение словами, которые отождествляют негра с Америкой: «Я тоже Америка». Он — неотделимая часть сегодняшней Америки. Существование его вне этой страны невозможно, но и существование самой этой страны немыслимо без его присутствия. Он — часть судьбы Америки.

Надежда целиком никогда не теряется. Даже если растущая «стена... между мной и моей мечтой... скрывала свет моей мечты» и дорастала даже до неба, лежащий в ее тени все-таки не забывает того, что она скрывает. Душа сохраняет мечту, и темные

руки должны сломать эту стену, уничтожить тень и вернуть свет солнца и мечты.

Хьюз, правда, часто останавливается перед неизвестностью судьбы своей расы, но он никогда не проповедует насилие как средство для облегчения нынешних бед. Если он спрашивает, не взорвется ли «отсроченная мечта», то он допускает возможность насилия в качестве реакции на медлительность освобождения негра, но он определенно не является сторонником радикальных кругов. Его мирное отношение проявляется в словах, произнесенных у гроба Букера Вашингтона («Земля Алабамы»): «Служи — и ненависть умрет не рожденной./ Люби — и цепи разорвутся».

С фольклором черной Америки Ленгстона Хьюза связывает глубокая, наивная религиозность, находящая свое выражение, в частности, в цикле «Иисусовы ноги». Стихотворения этого цикла свидетельствуют об уверенности в помощи, которую и простой человек всегда может получить от Христа. Крайне скромными поэтическими средствами Хьюз показывает человека, открывающего всю свою душу перед Богом и ожидающего абсолютной Божьей милости. В стихотворении «Мой Господь» Христос воспринимается как близкий человек, который принимает каждого униженного как своего друга. Человек находит утешение в том, что жизнь Христа подобна его жизни: «Мой Господь знал, что такая работа./ Он знал, как молиться./ Жизнь моего Господа тоже была трудной, /трудной каждый день». Наивное дословное истолкование христианского обещания будущей жизни этому человеку облегчает земную жизнь, ибо «Он сказал: «Конечно, ты пойдешь со Мной/ и на веки вечные будешь моим другом».

Характерно для американского негра, что он ищет корни своего бытия в своей истории. Так, в поэзии Ленгстона Хьюза находятся аллюзии на какие-то таинственные связи с черной Африкой. В своей крови он слышит бубны африканских джунглей и боится холодной цивилизации. Но снова и снова он должен осознавать неизбежность своей связи с «белым миром». Так, в семи строках стихотворения о метро, где смешаны не только люди, но сливаются в одно и дыхание и запах всех этих людей, выражается неотделимость белых от черных — «места нет для боязни», сама жизнь показывает неизбежность равенства.

Ленгстон Хьюз в этой взаимосвязи и видит предопределение судьбы Америки. Негр не может жить без американской цивилизации, но и белый не может отделить свой путь от судьбы негров. Хьюз это наблюдал достаточно часто в своей жизни. Он, например, поехал на Кубу в поисках негритянского композитора, с ко-

торым он мог бы написать оперу, но никого не нашел и должен был снова осознать, что большинство отношений в Америке — это отношения между белым и негром.

Одна из особенностей американского негра — это способность смехом скрывать горе: «Потому что мой рот/ раскрывается в смехе/ и мое горло /наполняется песнью/, вы думаете/, что я не страдаю после того / как я сдерживался / так долго. / ...потому что мой рот / открывается смехом, / вы не слышите моего внутреннего крика, / потому что мои ноги / веселятся в танце, / вы не знаете, / что я умираю». В этом стихотворении описывается лишь противоречие между внешним видом и душевным состоянием. В другом месте смех противопоставляется грусти как бы в качестве мировоззрения. После описания тяжелой тоски по родным краям, он говорит: «Чтобы удержаться от плача,/ я открываю рот и смеюсь».

Помимо этих мотивов, которые все в той или другой степени связаны с проблематикой американского негра, Ленгстон Хьюз в своих стихотворениях касается и общечеловеческих проблем. Так, он, например, дает поспешно набросанное описание «Кафе: в 3 ч. утра», где чиновники из специального отделения полиции ищут педерастов — «дегенератиков, / некоторые люди говорят.» И здесь проявляется бескомпромиссная человечность Ленгстона Хьюза, который не считает себя в праве осуждать этих людей, ибо «Бог, природа / или кто-то / создал их такими». Они такие же люди, как и все остальные. Важно, что они именно люди, а не то, где ищут они свое счастье.

Часто в коротких строчках Ленгстона Хьюза содеряжатся большие проблемы человеческой жизни. Например в «Стихотворении»: «Я любил своего друга. / Он ушел от меня. / Больше нечего сказать. / Стих кончается, / мягко, как он начался — / я любил своего друга». Большего, действительно, не скажешь. Всё горе одиночества открывается перед нами.

В сборниках Ленгстона Хьюза находим также стихи, выражающие замкнутость человеческого существования («Конец»), глубокую трагедию человеческой жизни («Парижская нищая») или нежные любовные стихи, избегающие всяких преувеличений и излишне ярких красок.

Помимо мотивов и тенденций, привлекает к себе в поэзии Ленгстона Хьюза и форма, в которой поэт преподносит свои идеи. Важнейшим средством стилизации ему служит язык, скорее диалект бедных негров в южных штатах США. Типичный признак

этого диалекта — применение глаголов в 3-ем лице вместо первого лица единственного числа (я молится), как и фонетические перемены — неполная деепричастная форма, употребление d вместо th и др. В наши дни нельзя уже говорить об этом диалекте как общем признаке американских негров, ибо каждый негр, окончивший хотя бы восьмилетку, старается всеми силами освободиться от этих особенностей в языке своих отцов и дедов. Поэтому применение этого диалекта в поэзии сегодня уже нельзя считать только стилизацией. Оно лишний раз указывает на определенную раздвоенность в характере нашего поэта. Так же, как в первом своем рассказе он искусственно создал вокруг себя «типичную негритянскую семью», с типичностью которой был знаком лишь отдаленно, применяет он язык беднейшего негритянского населения Юга, несмотря на то, что и оно постепенно уже отдаляется от этого языка.

В большом количестве своих стихов Хьюз пользуется обыкновенным английским языком. Можно ли применение диалекта ограничить какой-то определенной группой стихов? И делается ли выбор между литературным языком и диалектом в зависимости от содержания?

Оказывается, действительно, этот диалект можно найти главным образом в стихах, выражающих интимные чувства или переживания, как и в стихах религиозного содержания. Но мы его не найдем в стихотворениях, в которых описывается природа или посторонние люди. Так, например, любовные стихи или стихи, говорящие о тяготении человека к родным местам, о трудностях негра в больших городах Севера, о разочарованиях и надеждах, которые все написаны в форме личного высказывания, отличаются усиленным применением диалекта. Таким образом, диалект употребляется в качестве элемента, отличающего негра от окружающей среды и напоминающего ему домашний мир. Что же касается стихотворений религиозного содержания, в которых открывается вся человеческая душа и выражаются наиболее интимные ощущения, то употребление в них негритянского диалекта несомненно связано с религиозной традицией. На огромных «молитвенных встречах», которые проводятся в церквях американских негров, все песнопения, подавляющая часть молитв, а в некоторых сектах еще и «откровения», высказываемые в экстазе, и по сей день произносятся на диалекте. Таким образом, религиозные мысли автоматически связываются с «народным языком».

Интересно и формальное построение некоторых стихотворений. Здесь я имею в виду главным образом применение негритян-

ской фольклорной формы «блюз». «Блюз», в отличие от «спиритюэлз», имеет строгую форму, представляет собой трехстишие, в котором первые два стиха повторяются, иногда с легкими вариациями. В первом двустишии помимо окончательной рифмы часто получается и внутренняя рифма перед цезурой. Третий стих имеет окончательную рифму с первым двустишием. Этой формы Хьюз строго придерживается в своих «блюзах». Если «спиритюэлзы» часто выражают надежду освободиться от тягот земной жизни, «блюз» показывает человека в полной мере голода, затруднений, разочарований.

Несмотря на постоянное тяготение к бедным слоям населения и на ясное осознание социальных проблем, которые влияют на все области жизни американского негра, Ленгстона Хьюза нельзя назвать пролетарским поэтом. Он в своей поэзии освещает глубоко человеческие проблемы, но преподносит их без всякого пафоса. И поэтому каждому из нас он может сказать многое.

## ХЭППЕНИНГ — ПРОДОЛЖЕНИЕ «ТОТАЛЬНОГО» ТЕАТРА?

Вряд ли какой-либо жанр искусства в наши дни вызывает столько споров, как театр. Разные экспериментальные группы пытаются возобновить умирающее театральное искусство, но пока все еще неясно, куда ведет дальнейшее развитие театра; будет ли он снова привлекать к себе публику или обречен на полную гибель. На фоне этих проблем стоило бы осветить некоторые принципиальные вопросы развития теории театра в нашем веке.

Во многих спорах о современном театре или о новых экспериментах стало заметно смешение двух противоположных театральных понятий — «чистого» или «автономного» театра, с одной стороны, и «тотального» театра, с другой. Обе концепции театра происходят из тенденций, охвативших широкие круги художников, и представители обоих направлений считают каждый свою концепцию воплощением настоящего «современного» театра. Отсюда, вероятно, и произошло смешение этих двух понятий, которое в крайней степени является помехой во многих сегодняшних дискуссиях, а в некоторых случаях это смешение вкрадывается даже в идеи современных экспериментаторов. Поскольку это препятствует всякой плодотворной дискуссии о театре, стоит, на мой взгляд, в первую очередь предпринять хотя бы самую скром-

ную попытку размежевать две основных концепции театра нашего века.

Идея «чистого» или «автономного» театра вытекает из пуризма. Театр, как и музыка, воспринимающаяся как чистая форма и не нуждающаяся в помощи других средств искусства, должен найти свои специфические средства выражения, которые позволяют ему существовать самостоятельно, без помощи вне театральных средств. В поисках «стихийно театральных средств» теоретики «автономного» театра обращаются в первую очередь к «приимитивному искусству». В начале нашего века искусство первобытных народов оказалось особенно сильное влияние на живопись и скульптуру. Кубисты и экспрессионисты черпали из искусства негров, народного искусства и даже из искусства слабоумных и детей. В 1908 году Николай Евреинов требует возвращения к первоисточникам театра. Для возобновления театра он предлагает пользоваться народным искусством и ритуалами первобытных народов.

Идея «автономного» театра возникла не в писательской, а в театральной среде. Евреинов, Таиров, Крейг, как и другие теоретики «автономного» театра, были режиссерами. Этим фактом и объясняется их требование «независимой театральной реальности». «Автономным», пишет современный польский экспериментатор Тадеуш Кантор, я называю такой театр, который не хочет быть «средством для репродукции», что по сути означает, что литературный текст лишь истолковывается средствами сцены». Текст драматического произведения является найденным, готовым, законченным. Кантор, который не хочет заниматься лишь воспроизведением такого текста на сцене, требует полного освобождения театра от «оков литературы». Только через такое освобождение можно, по его мнению, достичь автономной реальности театра.

Те же идеи мы находим уже в «Записках режиссера» Таирова, который утверждает, что расцвет театра всегда наблюдался в тех случаях, когда театр отрекался от написанных пьес и пользовался своими собственными сценариями. Новый театр Таирова был задуман не как продукт литературы, а как творческий продукт актера.

Еще в 1905 году Эдвард Гордон Крейг писал: «Отцом драматурга был танцор». Первый драматург составил свою пьесу из жестов, слов, линий, красок, ритмов, а не выбирал свои слова по примеру лирического поэта. От воспроизведения драм театр должен переходить к созданию своих собственных пьес. «Тогда мы

больше не будем нуждаться в помощи драматурга, тогда наше искусство будет самостоятельным».

Теоретики «автономного театра» критиковали драматургов, создававших пьесы за письменным столом и не обращавших внимания на специфическую реальность сцены. Они хотели вернуть драматурга на сцену, предлагали, чтобы он создавал свои пьесы в сотрудничестве с актером. Однако их вызов остался без ответа. Драматурги продолжали свою работу за письменным столом. Сотрудничество между писателем и исполнителем осталось мечтой. Поэтому критикам старого театра самим пришлось занять место поэта, ибо и антилитературный театр не может обходиться без сценария, без действия. Они стали использовать литературные тексты, которые им, однако, служили только в качестве сырого материала — поэт перестал быть авторитетом. Своеобразное использование литературных текстов (напомним хотя бы известные постановки Мейерхольда) вызывало горячие споры, до сих пор не оконченные в пользу той или другой стороны. С точки зрения «автономного» театра, свободное использование текста вполне оправдано, ибо постановка на сцене является самостоятельным художественным событием, которое имеет свои собственные законы. Неизбежны, конечно, столкновения между режиссером и автором, если последний воспринимает постановку на сцене только лишь как оживление текста, как перевод слов в жесты, и не хочет считаться с самостоятельной творческой деятельностью режиссера и актера.

Свободное использование литературных текстов — единственный результат всех споров об «автономном» театре, который мне известен. Своих первоначальных целей — в первую очередь освобождение от литературы — теоретики этой «школы», следовательно, не достигли.

Большего успеха в распространении достигла идея «тотального» театра, которая, по всей видимости, оказывает сильное влияние и на развитие дальнейших концепций театра.

Идея «тотального» театра уходит своими корнями также и в российское театральное искусство, вспомним группу писателей, режиссеров, живописцев и танцоров, образовавшуюся вокруг журнала «Мир искусства». Своего же апогея идея достигла в театре пролеткульта. Актеры — вначале это были солдаты, рабочие, крестьяне, но вскоре оказалось, что театр все-таки не может обходиться без профессиональных актеров — больше не играли на сцене, возвышающейся над залом. Режиссеры стремились установить прямой контакт между актерами и публикой. В

1920 году Евреинов в Петрограде инсценировал взятие Зимнего Дворца как массовый спектакль. Принимая участие в точной реконструкции исторических событий, массы должны были приобрести историческое знание. Здесь проявляется элемент педагогики и пропаганды, который и является основным положением теории Пискатора.

Пискатор — главный представитель «тотального» театра в Германии, и многие идеи сегодняшних экспериментаторов основываются на его теориях и постановках. Пискатор ожидает от театра, чтобы игра и действительность сливались в одно целое. Зритель должен ощущать на сцене не театральную постановку, а настоящую жизнь, в которой он сам принимает активное участие. Избегая проповедывать свою идеологию только словами, Пискатор пытается воплотить ее в действительность. Для этого, по его мнению, активное участие публики в действии является наиболее важной предпосылкой. Только таким образом театр может преобразовать и перевоспитать человека. Связь между сценой и публикой уже существовала в прошлом, в аристократическом обществе, и Пискатор считает своим долгом снова восстановить ее в сегодняшнем обществе.

«Тотальным» Пискатор называет такой театр, который пользуется всеми творческими средствами изобразительного искусства, музыки и литературы. Идеи «тотального» театра в последнее время используются композиторами чаще, чем писателями. Важными представителями музыкального театра являются Штокгаузен и Кагель, которые все чаще применяют внemузикальные материалы. В их произведениях слово, движение и свет играют такую же важную роль, как и музыка. Но это пока лишь эксперименты, которые неизвестно куда ведут.

До сих пор шире всех идеями «тотального» театра пользуется «Латерна Магика» в Праге. Режиссеры всеми силами пытаются поместить публику в центр, окружая ее «тотальной» сценой. Для этого применяются средства кино и звуковые эффекты. Но сидящему в этом театре невольно приходит в голову: не является ли все это чрезмерным увлечением техникой? Такое упоение было понятным сорок или пятьдесят лет тому назад, когда только родились идеи тотального театра, а технические средства как фильм или радио являлись новостью. В наши дни эти средства больше не производят особенного эффекта и, во всяком случае, не привлекают публику к активному участию в действии.

Из театральных теорий 20-х и 30-х годов в последние годы возникло много новых идей. Огромное количество экспериментов

показывает, что на наших глазах происходит переосмысление театра. Хотя для меня совершенно ясно, что горячие приверженцы театра — поскольку такие редкие экземпляры вообще еще существуют — будут упрекать меня в «богохульстве», я хочу все-таки указать на одно современное явление, которое несомненно развилось на основе тех же идей, что и «тотальный» театр. Это явление называется «хэппенинг».

Понятие «хэппенинга» сегодня довольно расплывчато, и из студентов, которые в подавляющем большинстве случаев устраивают «хэппенинги», вероятно, мало кто в состоянии определить происхождение и точное значение этого явления. В последние месяцы название «хэппенинг» стало придаваться всяким провокациям политического или идеологического характера или же просто бессмысленным действиям, цель которых — шокировать людей. Почему же я берусь утверждать, что «хэппенинг» следует считать логическим результатом более ранних идей «тотального» театра?

«Хэппенинг» возник в 1958 году в среде нью-йоркских художников. Живописцу Эллен Кэпроу надоело смотреть на свои картины в тишине безлюдных залов. Он разрезал полотна и разместил в разрезах разноцветные лампочки, которые то зажигались, то потухали, и таким образом разрушил «бездейственность» своих картин. Своей акции он дал название «происшествие» — «хэппенинг».

Вскоре «хэппенинг» стал распространяться в Нью-Йорке. Для «хэппенингов» открывались театры, предоставлялись галереи и другие здания, и, в конце концов, они были вынесены на свежий воздух. «Хэппенинг» стал считаться революционной формой искусства, но пока представлял собой лишь активизацию самого искусства. Цель «хэппенинга», однако, заключалась в живой связи искусства с его потребителем. И здесь мы наблюдаем использование элемента «тотального» театра — участие публики.

Теоретик и организатор многих «хэппенингов» Жан-Жак Лебель говорит, что «каждый, кто попадает на хэппенинг, участвует в нем. Нету больше ни публики, ни актеров... Никто не редуцируется и ничто, как в театре. Нет больше «функции зрителя», нету ни диких зверей за решетками, как в зоопарке; нет ни сцены, ни поэтических слов, ни оваций».

В 1965 году Лебель был одним из организаторов «Фестиваля свободного выражения» в Париже. Одна из акций этого «хэппенинга» выглядела следующим образом: так называемая «групп-

па паники» разрушила огромную имитацию статуи Родэна «Мыслитель», разливая при этом чернила из пластиковых кульков. Одна девушка вертела в разные стороны головы и выкручивала руки и ноги пластиковыми куклами человеческого размера. Лоренс Ферлингетти писал музыку к своему последнему произведению, в то время как голая пара, стоя в мешке, производила половой акт. После окончания фестиваля, который длился несколько дней, Лебель объяснил: «Каждый человек мечтает делать все эти вещи, которые мы здесь проделали. Наше поколение хочет найти новый смысл революции, новое душевное состояние, основанное на широком понятии того, что означает свобода».

В такого рода «хэппенингах» посторонние редко принимали участие, и, следовательно, эти «хэппенинги» оставались организованными зрелищами. Первоначальный смысл американского «хэппенинга» заключался в том, чтобы способствовать осознанию человеком подсознательных сил. Реальность должна была представляться перед человеком такой, чтобы он вынужден был критически задуматься над ней. Более поздние теоретики и организаторы «хэппенингов» стремились шокировать людей, чтобы вырвать их из бездеятельности и заставлять их принимать участие в спектакле, который затем превращался в освобождающее человека от внутренних запретов коллективное действие. Таким образом, мы здесь опять сталкиваемся с педагогическим элементом, который внес в теорию «тотального» театра Пискатор.

Но обращение к подсознанию и применение шока вскоре привело к использованию «хэппенингов» для политических протестов и провокаций. В последнее время радикальные студенческие группировки в разных странах пользуются элементами «хэппенинга» в своих протестах против политики правительства их стран, против морали общества или, например, против войны во Вьетнаме. Они, однако, в большинстве случаев шокируют людей в такой мере, что не только никого не заставляют задуматься о важных для них проблемах, но, наоборот, вызывают людей на защиту своих позиций. Таким образом, «хэппенинг» превратился из интересной новаторской попытки в области искусства в бесполезное средство политической борьбы. И всё-таки идеи теоретиков художественного «хэппенинга» показывают, что проблематика «тотального» театра жива.

## Библиография

### Бердяев и Россия

Мы живем в эпоху неблагоприятную для исторической науки. Не только потому, что она искажена большевиками и унижена ими до рабы их лживых прихотей и искажений правды. Это полубеда, поскольку в свободном мире еще жива традиция исторической правдивости. Но есть и другая, более веская причина. Если всему человечеству на земном шаре грозит поголовное и окончательное уничтожение в какой-нибудь будущем в будущем мировой войне от ядерных, химических и бактериологических бомб, то какой смысл имеет еще изучение истории, в котором люди пытаются — по большей части бесплодно — находить руководство для будущего, если будущего нет?

Впрочем, существуют философии, которые вообще отрицают историю, как, например, индусская, стремящаяся освободить дух «от плена воспоминаний» и открыть человеку через углубление в свое «я» познание вечности во мгновении, счастье «смерти для прошлого»; она учит «умирать для бесчисленных вчерашних дней», как выражается, например, Кришнамурти в своих «Беседах в Саанене», имеющихся и в русском переводе.

Такое отношение к прошлому неприемлемо для народов, поставленных христианством в историческую перспективу «от сотворения мира» до «второго пришествия Христа». Мы ощущаем поступь времен, которую индус может совершенно выключить из своего сознания. Но христианство и история находятся в конфликте между собой. Христианство осуждает историю за то, что она его не осуществила, а история осуждает христианство за то, что оно в ней не осуществилось. Чему нас учит история? Наслоению веков без видимой конечной цели, кроме зарождения и отмирания циклов культур. Какое в этом утешение? Такая наука была хороша, пока история казалась, по ироническому выражению Шпенглера, бесконечным «червем-солитером, наращающим эпохи». И это докуда? До завтрашних водородных бомб, которые одним махом сожгут весь земной шар? Христианство же видит цель в поступи человечества во временах. Оно эсхатологично, т.е. направлено на конечную цель, на создание Царства Божьего на земле, Царства Правды и Справедливости, Царства Святого Духа. Оно нам пока-

---

Н. Полторацкий, Н. Бердяев и Россия. (Философия истории России у Н. А. Бердяева). Нью-Йорк 1967. Стр. VI + 262 + 8.

зывает альтернативу ко всемирному самосожжению человечества. И это — последний шанс христианства на земле.

Ни одна религиозная философия не люсвятила себя так глубоко и настойчиво за последние века этой эсхатологии, как именно русская за более чем сто лет. От Хомякова, Достоевского и Владимира Соловьева до Николая Бердяева и других нам современных русских мыслителей в изгнании, русская мысль ищет именно осуществления «Царства Божьего» на земле и, применительно к ней, миссию и божественное задание русского народа. Наше время не может пройти мимо Бердяева.

Его творчество так обширно, что непосвященный не может охватить его целиком во всем его многообразии. Вот почему книга проф. Н. Полторацкого «Бердяев и Россия» — отличный путеводитель по полутораковому простору бердяевских трудов. Это своего рода огромный «пасьянс», но сыганный не с одной, а с десятью колодами карт зараз. Но вместе с тем это тщательная и добросовестная панорама бердяевских идей. Думается, что в России, где уже существуют бердяевские кружки, преследуемые большевиками, эта книга, если бы она была допущена, имела бы большой успех.

Только в критической части в конце книги есть утверждения, с которыми нельзя вполне согласиться с автором. Он критикует у Бердяева историческую необоснованность его идей, видит в этом погрешность его построений и ссылается на слова самого Бердяева, что его «интересует не история России XIX века, а история русской мысли, в которой отразилась 'русская идея'». Вот что он пишет дословно: «В источниках Бердяева как раз и заключается основная методологическая слабость всех его построений. Ибо историософические построения Бердяева основаны не на русской истории, а на русской литературе и русской религиозно-социальной и философской мысли. Русская же мысль в своих преобладающих течениях находилась, как признает и сам Бердяев, 'в глубоком конфликте с русской историей, как она создалась господствующими в ней силами'. То же следует сказать и о русской литературе: это литература великая, но во многом — беспочвенная» (стр. 192).

Спрашивается: какая в том беда, что построения Бердяева антиисторичны? Может быть, в этом их сила? В этой критике мы сталкиваемся с характерной постановкой феноменологического позитивизма в истории, считающего обоснованным в истории только то, что проследимо по логической цепи причинной связи в событиях прошлого. Другими словами, что русские философские идеи, если они не имеют исторической почвы под собой, а рождены «беспочвенно», не могут послужить для проекции в будущее, не являются основанием для прогноза.

Тут с автором можно спорить. *Proles sine matre creata* бывает и в истории. Итальянское Возрождение, например, имевшее такое огромное

влияние на судьбы Запада, родилось из увлечения античной архитектурой тончайшего слоя некоторых зодчих и художников, т. е. интеллектуальных кругов, совершенно в стороне от тысячелетнего итальянского прошлого и от масс неграмотного народа, глубоко проникнутого духом Средних веков и особенно духом эпохи великих итальянских святых. И что бы там ни говорили историки, ищащие обязательной преемственной связи с прошлым, св. Франциск Ассизский не был предтечей Возрождения, и ворвавшийся языческий поток был явлением совершенно чуждым современной средневековой Италии или, как вероятно сказал бы проф. Полторацкий, «беспочвенным», в чем он был бы прав. Однако история устремилась по пути Возрождения.

Следует поставить вопрос: разве русская религиозная мысль и литература XIX и XX веков, которую автор считает «во многом беспочвенной», не является уже сама по себе историческим фактом первостепенной важности? Разве идеи, выраженные в первый раз в письменности, в книгах, не являлись во все времена иногда исходной точкой глубоких движений в жизни народов? Впрочем, религиозная идея Царства Божьего, Царства Правды на земле уже была вложена в дух русского народа и в судьбы русского Православия, которое от Крещения Руси в течение пяти веков, в отличие от Запада, питалось почти исключительно из Нового Завета и особенно из Откровения св. Иоанна, в то время как Церковь<sup>только</sup> частично знала Ветхий Завет, переведенный на церковный язык целиком лишь в конце XV века.

Бердяев видит именно в «Русской идее» более всего «ожидание, не всегда открыто выраженное, новой эпохи в христианстве, эпохи Святого Духа» («Русская идея», стр. 194).

«Русская идея, подтверждает проф. Полторацкий, есть идея Царства Божьего». Но он тут же делает оговорку: «Исторически старая идея Москвы Третьего Рима, смененная идеей Святой Руси, как и более поздняя идея Великой России... в гораздо большей мере русские идеи, чем идея 'Царства Божьего' в позднейшем бердяевском понимании». Действительно, в позднейшем своем варианте идеи 'Царства Божьего' Бердяев, под впечатлением победы СССР над Германией и в тщетной попытке объяснить Божий замысел, скрывающийся за этим, увлекся большевизмом. «Мессианская идея марксизма, писал он, связалась с миссией пролетариата, соединилась и отожествилась с русской мессианской идеей». Автор прав в своем упреке Бердяеву, что он тут подменил свой прежний универсализм советским провинциализмом. Что на это ответить? Словами Гёте: «Es irrt der Mensch solang er strebt». Но это не позволяет огулом осуждать эту идею Бердяева.

О проявлении русского духа в большевизме пишет проще и убедительно Н. О. Лосский, в главе которого о мессианстве в его книге «Характер

русского народа»\*) отсылаю читателя, чтобы не удлинять статью лишней цитатой.

Суждение Полторацкого о Бердяеве сводится к следующему: «Философия Бердяева не научная, а экзистенциальная, профетическая и эсхатологическая, не философия жизни и не философия прагматическая, а персонально-комюнотарная. Всегдашняя цель Бердяева не гармония и порядок, а подъем и экстаз. Духовный тип Бердяева метафизический и мистический, а не религиозный».

Это только условно верно. Во-первых, философия не есть наука; она от природы спекулятивна, и Кейзерлинг, между прочим, приравнивает ее к искусству. Во-вторых, цель гармонии и порядка выражена и у Бердяева, например, в его «Новом Средневековье». Но людям, стоящим перед апокалипсисом атомического разрушения, историческая научность не поможет. В прошлом, во времена подобные нашим, в ожидании конца света, зарождались именно мистические экстазы. И может быть, и теперь потребуются не научные историки, а вожди народов, вдохновленные искрой Божьей, вдохновленные экстазом спасения человечества.

Но что значит Царство Божье на земле, Царство Святого Духа среди нас, вечно грешных людей? Очевидно, элементарное и всемирное пробуждение сознания божественности мира и такой подъем в сознании братства народов и людей, который во всеобщем горении осуществит, поверх рас, поверх классовой ненависти, поверх религий и догматов, ожидание вселенского мира, томящее человечество. Возможно ли это? Богу всё возможно. Может быть, такая мечта еще далека от своего осуществления, а может быть, и гораздо ближе, чем кажется. И одна уже мысль, что такое спасение, может быть, готовится по Божьему замыслу в тайниках человеческих судеб, подает надежду, что светопреставление будет предупреждено и что именно обновленной и освобожденной от царства зла России предстоит стать знаменосицей в таком обновлении мира. А для этого нужен именно экстаз, а не наука, нужно духовное воспламенение.

Александр Болыто

\*) Изд-во «Посев» 1967.

## „Диптих“

Под этим необычным названием известный писатель, публицист и литературный критик Н. И. Ульянов издал в конце прошлого года сборник своих статей, напечатанных разновременно в различных эмигрантских периодических изданиях («Новое Русское Слово», «Новый Журнал», «Воздушные Пути» и др.). Конечно, сборник этот вместили только те статьи, ко-

торые автор нашел необходимым издать в первую очередь. Сборник разделен на две неравные части. Первая часть — более обширная — вмещает 10 статей литературно-критического характера («Об историческом романе», «Прием и философия», «Арабеск или Апокалипсис», «Чехов в театре Горького», «Забытый бог», «Б. К. Зайцев», «Алданов-эссеист», «Об одной неудавшейся поэзии», «Литературная слава» и «Шестая печать»), а во вторую часть сборника вошли статьи, имеющие политический уклон: «Патриотизм требует рассуждения», «Басманный философ», «Ignorantia est», и «Русское и великорусское».

Автор, со свойственным ему темпераментом и заостренностью, пытается дать ответ на многие литературные, философские, политические проблемы; он горячо, серьезно, глубоко и взволнованно подходит к обсуждению этих проблем и своим волнением заражает читателя: оставить, не дочитав до конца, ту или другую статью Н. Ульянова невозможно даже в том случае, когда авторские высказывания не совпадают со взглядами читателя. Статьи, помещенные в сборнике «Диптих», могут нравиться или не нравиться по своему содержанию, с ними можно соглашаться или не соглашаться, но по своей форме они превосходны, язык их точен и выразителен, свободен от всякого рода «исканий», и о нем можно сказать то же самое, что сказал сам Н. Ульянов о языке Алданова («Алданов-эссеист»): «Он (язык — А. С.) исходит из старого доброго хозяйства русского литературного языка, в котором так много еще прекрасных запасов, неразработанного сырья, что нет необходимости в словесном конквистадорстве».

Но дело, конечно, не только в форме. По своему содержанию статьи Н. Ульянова привлекают внимание своей эрудицией, тонкостью суждений, оригинальным подбором материала и мастерской его подачей. Я не собираюсь передавать содержание всех статей, помещенных в сборнике, укажу только некоторые из них, показавшиеся мне особо значительными: «Прием и философия», «Арабеск или Апокалипсис», «Б. К. Зайцев», «Алданов-эссеист», «Литературная слава» «Забытый бог» (журнал «Аполлон»)...

Статья «Прием и философия» трактует о враждебном отношении Л. Н. Толстого к профессиональному театру и о влиянии на творчество Л. Н. Толстого философии Жан Жака Руссо. С выводами Н. Ульянова нельзя не согласиться, но в то же время необходимо отметить, что Л. Н. Толстой, несмотря на всю «моральную порочность театра», сам написал для домашнего театра несколько пьес, которые еще при его жизни прочно вошли в репертуар театра профессионального. Думаю, что более непримиримым врагом театра нужно считать скорее И. А. Бунина.

Статья о Б. К. Зайцеве, очень тонко и верно анализирующая творчес-

во знаменитого писателя, проникнута, кроме того, любовью и безграничным уважением к Борису Константиновичу. «Арабеск или Апокалипсис» — статья, в которой автор высказывает проницательные соображения по поводу гоголевской повести «Нос»:

«Майору Ковалеву и в голову не приходило, как близок он был к истине, когда говорил: «Черт хотел подщипнуть надо мною». По отношению к нему это была действительно шутка, но совсем не шуточным представляется выезд в карете на Невский проспект и победное вступление в Казанский собор. Демонстрация силы, торжество над противником, о котором благовестуют (в день Благовещения. — А. С.), желание показать, что не Ему Грядущему (т. е. Христу. — А. С.) принадлежит мир — вот мотивы явления черта в повести «Нос».

«Литературная слава» — исключительно едкая и остроумная статья, возможно, вызовет нарекания со стороны тех, кто пользуется «подсобными» способами для вхождения в литературу.. «Русская литература, по мнению Н. Ульянова, — гибнет не потому, что после ухода стариков некому будет писать, а потому, что количество графоманов, пользующихся «подсобными способами», увеличилось до катастрофических размеров».

«Алданов-эссеист» — прославление силы алдановского языка и умения «облюбовать, выбрать и преподнести свои «эссе» и «mots». Однако необходимо заметить, что восторги автора алдановскими «mots», по-видимому, вызваны стремлением самого Ульянова идти по стопам Алданова: в книге Ульянова можно встретить множество очень удачных по глубине, меткости и компактности замечаний, не уступающих алдановским. Для примера можно привести несколько ульяновских «mots»:

«Если правда, что смерть попрана была когда-то смертью, то жизнь ежеминутно попирается жизнью же... У смерти, порой, отсрочку можно вырвать, у жизни — никогда...»

«Героя отличает не хладнокровие робота, а язык пламени, сверкающий над головой...»

«Старик Державин» рукоположил Пушкина, Пушкин рукоположил Гоголя — и так до самой той эпохи, когда поэтов стали расстреливать...»

«Село Михайловское, Ясная Поляна вошли в историю неумышленно, но Коктебель — литературное сочинение. Сочинением была «Башня» Вячеслава Иванова...»

«Произведения Ремизова знают куда меньше, чем его выходки. Он-таки добился того, что актерство его взяло верх над писательством...»

«Современная политика — единственный в мировой истории образец добровольного разоружения сильного перед слабым, высшего перед низшим, культурного перед варварам. Мы живем в летаргическом сне, видим,

как нас кладут в гроб, зарывают в землю, но не можем ни пальцем пошевелить, ни слова вымолвить»...

Таких «mots» в книге Ульянова можно встретить множество, но, конечно, не только они волнуют читателя: главное качество его книги заключается не во внешнем блеске, не в «гимнастике ума», а в глубине, оригинальности и смелости его суждений...

Арк. Слизской

## Память сердца

Книга, о которой мы пишем, не велика по объему — в ней всего 120 страниц. Но вмещает она 27 отдельных рассказов, своеобразных «стихотворений в прозе»: некоторые из них так миниатюрны, что занимают всего полторы-две странички. Рассказы эти просты и безыскусственны, но в них есть что-то общее, что-то интимное, проникнутое тихой печалью настолько, что читаешь их как историю твоей личной судьбы, как раскрытие одной большой темы: покинутая, может быть, навсегда, благословенная родина, отчий дом, где прошла беззаботная и светлая юность, страшные годы войны и революции и наконец — чужбина с ее одиночеством, тоской по прошлому, по старением — и ожиданием такого же одинокого конца.

Почти во всех рассказах изложены судьбы русских людей-эмигрантов. Некоторые из них уже носят иностранные фамилии, прочно устроились, обзавелись семьями. И все же любовь к родной земле, как незажившая старая рана, прочно остается в сердцах этих людей и, конечно, у самого автора книги. Пусть некоторые из эмигрантов ушли в быт и обогащение, пусть другие стали предателями — священная тень далекой, теперь перепаханной коммунистическим плугом русской земли по-прежнему витает над большинством невольных изгнанников.

И всё же книга Б. Домогацкого — не реквием над милым прошлым. Она озарена светом веры в Бога, любовью к России и ее людям, познавшим трагедию, личную и народную.

Б. Домогацкий, несомненно, обладает хорошим литературным стилем. В рассказах его — ни одного лишнего слова, описания людей, жизненных эпизодов и обстановки, несмотря на краткость, ясны и красочны. Вся книга пронизана подлинным гуманизмом, окрашена тихой и кроткой печалью человека, много пережившего, наблюдавшего и размышлявшего.

Что еще добавить к нашему впечатлению от книги рассказов Бориса Домогацкого? Она правдива и искренна. Уверены, что книга найдет благодарного и чуткого читателя — не только у старииков, но и у русской молодежи.

Л. Д.

## Анна Ахматова в итальянском издании

Издательство Джулио Эйнауди имеет заслуги перед русской литературой. Основатель его, сын бывшего президента итальянской республики, положил начало изданию ряда переводов русской прозы и поэзии, иногда в двух параллельных текстах, русском и итальянском. Все это — в сотрудничестве с выдающимися итальянскими знатоками нашей литературы. Даже «Слово о Полку Игореве» издано в древнем оригинале с переводом и с отличными комментариями.

Издан теперь и томик стихотворений Анны Ахматовой в переводах Карло Риччо. Этот томик содержит «Реквием», «Поэму без героя» и несколько отдельных стихотворений. Переводчик сообщает в предисловии, что тексты «Реквиема» и «Поэмы без героя» были переданы ему самой Ахматовой и что эта редакция «Реквиема» содержит поправки кое-каких неточностей, имеющихся в мюнхенском издании Товарищества Зарубежных Писателей, а текст «Поэмы без героя» может считаться полным после неполного, опубликованного «Воздушными Путями», в Нью-Йорке, в 1961 г.

Перевод стихотворений — щекотливое дело. Критик обязан проявлять к нему наибольшую требовательность и вместе с тем и наибольшую снисходительность. Это уже само по себе неблагодарная задача. А что остается сказать, если переводчик сообщает, что сама Ахматова одобрила его перевод? Не могу судить о знании Ахматовой итальянского языка. Замечу лишь, что в 1964 году Анна Андреевна, после 52 лет отсутствия, прибыла в Италию, где в Таормине ей была присуждена премия «Этна». В ответ она готовила короткое благодарственное обращение к итальянскому министру народного просвещения и написала его по-французски. Она попросила меня проверить ее французский текст, говоря, что французский язык для нее удобней, чем итальянский. Думаю поэтому, что я не согрешиу перед

*Анна Ахматова. «Поэма без героя» и другие стихотворения. Русский текст с итальянским переводом Карло Риччо. Издание Джулио Эйнауди, Турин, 1966 г. 169 страниц текста с предисловием переводчика.*

памятью Анны Андреевны, если позволю себе сделать несколько замечаний по поводу одобренного ею итальянского текста ее стихов.

Перевод — подстрочный, точный, тщательный, слово в слово. Конечно, все соки, которые чародейка поэтессы вытягивает из земных корней родной речи и через свое вдохновение превращает в цветы и музыку, где слова подчиняются рифме и мысли идут поступью размера, улетучиваются из такого нестихотворного перевода. Остается вещественная сущность мысли и вложенная в нее поэзия, остается предметность слов, насаженных на нить, как «четки». А поэзия Анны Ахматовой в большой мере вдохновлена картинностью видений и осозаемостью вещей. Это облегчает перевод и передачу итальянскому читателю поэтической сущности ее стихов. Итальянский язык богат всевозможными специальными терминами, и итальянцы любят техническую точность своего языка. Поэтому такие слова, как «дылда», «сорванцы», «чудить», «голубка», «плясать вприсядку», «непробудная сонь вещей», «гость зазеркальный» и даже «помнить и вспомнить» находят соответствия.

Но есть в обоих языках и несмежные слова. «Бездорожье», «полозья», «ауkаться», «козлоногая», «волчий оскал» и другие переведены приблизительно. «Крупчатая выюга» становится «мучнистой», а уж наши глаголы в совершенном виде, как, например, «дождаться», совсем головоломны. Иногда переводчик увлекается уточнением без видимой надобности. Например: «Но была для меня та тема / Как раздавленная хризантема / На полу, когда гроб несут» — в переводе выходит: «Но была в моих глазах та тема / как раздавленная хризантема / на полу, когда гробовщики уносят гроб». Не лучше ли было оставить «для меня» вместо — «в моих глазах»? И какое значение имеет — несут ли гроб гробовщики, сослуживцы или домочадцы?

А вот самое трудное: «веселиться — так веселиться». Оно насыщено вековой жизнерадостностью русского сердца и непереводимо, как «пир горой». Эту задачу переводчик разрешил замечательно: он заимствовал у Лоренцо Прекрасного Медичи строку, повторяющуюся восемь раз в его знаменитом «Триумфе Вакха и Ариадны», вещающую уже пять веков жизнерадостность в итальянском духе: «chi vuol esser lieto, sia...»

В общем, за восемьдесят страниц такого точного и дословного, хоть и не стихотворного перевода Ахматовой переводчику спасибо.

Не могу не отметить постоянной во многих советских и зарубежных изданиях ошибки предложного падежа среднего рода! На страницах 60, 72 и 76 вместо «в накипаньи», «в ожерельи» и «в отдаленъи» напечатано с окончанием «ье», что соответствует не предложному, а тут совсем неуместному винительному падежу.

Александр Болтьо

## Заметки о книгах

Margarete Buber-Neumann — Als Gefangene bei Stalin und Hitler. Mit einem Kapitel „Von Potsdam nach Moskau“. Seewald Verlag, Stuttgart 1968.

Новое издание этой широко известной и переведенной на ряд языков книги потребовалось в связи с передачей германским телевидением фильма об авторе книги. Последняя несколько расширена: из другой книги М. Бубер-Нойман — «Из Потсдама в Москву» — (которую сейчас можно найти лишь случайно у букинистов) взято наиболее существенное, составившее первую главу нового издания.

Нет надобности рекомендовать знакомую многим хорошую книгу. Можно лишь поблагодарить издательство Генриха Зеевальда за этот выпуск.

Мы уверены, что потребуются и дальше переиздания. Поэтому нам хочется посоветовать многоуважаемому автору дать предварительно манускрипт на просмотр какому-нибудь русскому «редактору»: необходимо выправить транскрипцию многих русских слов и выражений. Так, слово «дневальная» всюду искажено на «ндевальная»; надо писать «котелок», а не «катилок»; «ток», а не «тог»; «путёвка», а не «пудёвка»; гостиница «Балчуг», а не «Балчук». Кстати, изнурительная и опасная, переходящая и на людей болезнь скота бруцеллоз (инфекционный аборт; в книге она всюду неверно названа брцелозом) не являлась чисто азиатской — она существовала и в Европе. В европейской части России, особенно на Украине, потребовались десятилетия упорной и дорого обошедшейся борьбы, — болезнь всё же была искоренена.

Эти замечания были нужны, чтобы помочь автору сделать безупречной хорошую книгу.

Robert Payne — Lenin. Sein Leben und sein Tod. Rütten und Loening Verlag, München 1965.

Солидный том, 480 страниц. До двух десятков фотографий, на которых Ленина можно видеть в детстве, на жандармских снимках, в эмиграции, на заседании Совнаркома, на митингах и беседах в Москве, в Горках — во время болезни, и наконец — на смертном ложе.

Автор потратил годы, собирая материалы о жизни и смерти Ленина. Один перечень использованных Пейном биографий Ленина и работ, содержащих материалы об его жизни, составляет до сотни наименований. Пейн побывал и в Москве, отыскивая первоисточники. Итог — большая увлекательная книга, которую, раскрыв на любом месте с целью бегло ознакомиться с содержанием, закрыть уже невозможно, и страницы

читаются одна за другой — так захватывает материал. Эта книга о Ленине, безусловно, — лучшее из всего, написанного на эту тему.

Нечего и думать о кратком изложении книги Пейна. Её нужно прощать. И никто не пожалеет о времени, потраченном на чтение.

С каких позиций написана книга, 'можно видеть уже из посвящения, помещенного на отдельном листе, вслед за титульным. Оно состоит из одного слова: «Мученикам». А на обороте этого листа дана цитата из речи Никиты Хрущева: «Только не думайте, что мы забыли Маркса, Энгельса и Ленина. Скорее раки научатся петь, чем мы забудем».

Что еще ценно в этой книге: множество выдержек из писем, статей, речей, декретов, которые еще яснее рисуют облик Ленина в каждый рассматриваемый период его жизни. В конце помещен полностью протокол патолого-анатомического исследования трупа Ленина.

Пользование книгой облегчается большим указателем имен лиц, упоминаемых в книге.

#### А. Корин — Советская Россия в 40-60 годах. США, 1968.

Автор лишь несколько лет тому назад покинул СССР. Этим объясняется страстность его в оценках разных сторон советской действительности. Как и все мы, пришедшие «оттуда», автор, несомненно, еще «там» задумал рассказать людям правду об СССР. Оказавшись в свободном мире, он сделал это. Его свидетельства, как человека, внутренний мир которого еще живет положением на родине, являются ценными и составляют полезный вклад в литературу о Советском Союзе.

Несколько критических замечаний все же необходимо сделать. Они нужны будут автору, если он намерен выпустить впоследствии солидный труд на основе своей первой книги.

Изложение недостаточно систематизировано, как внутри отдельных глав, так и в размещении последних. Не стоило, например, говорить об уголовном мире уже в 4-ой главе (между КГБ и образованием), а сельское хозяйство относить во вторую половину (глава 11). Не выделена совершенно глава о промышленности и о рабочих.

Почти не использованы заграничные издания (иностранные и зарубежные русские). Автор использовал лишь некоторые материалы «Посева». А свидетельств новых (и новейших) очевидцев опубликовано очень много.

Автор всюду цитирует советские печатные источники. Это правильно, конечно. Но противопоставлены им, в основном, лишь критические рассуждения самого автора. Автор мог бы существенно усилить и обосновать свои положения, если бы использовал и другие свидетельства. Укажем, хотя бы, на солидный труд Александра Волгина «Hier sprechen Russen».

sen», вышедший еще три года назад: в нем сведены итоги встреч и бесед с тысячами людей, живущих под советским игом.

Но и в том виде, как она вышла, книга Корина полезна и заслуживает быть прочтено всеми, интересующимися положением в нашей стране.

Ив. Сергеев

## Список книг, поступивших в редакцию

Adenauer, Konrad. Erinnerungen 1955-1959. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1967. SS. 552 + 9.

Barwich, Heinz und Elfi. Das rote Atom. Scherz Verlag, München 1967. SS. 278.

Березов, Родион. Звезда. Сакраменто 1966. Стр. 157 + 3.

Березов, Родион. Раздумья. Лирика. Брайт, Калифорния 1966. Стр. 64.

Березов, Родион. Вечно живет!. Рассказы. Роман «Разлука» ч. ч. 1 и 2. Т. I Нью-Йорк 1965. Стр. 384. Т. II Нью-Йорк 1967. Стр. 352.

Болйт. Психическая энергия. Философская тетрадь. Изд. автора, Париж, 1967. Стр. 187.

Bübner-Neumann, Margarete. Als Gefangene bei Stalin und Hitler. Mit einem Kapitel «Von Potsdam nach Moskau». Seewald Verlag, Stuttgart 1968. SS. 293 + 3.

Булгаков, Серге́й. От марксизма к идеализму. Сборник статей (1896-1903). (Репродукция издания 1903 г., СПБ). Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1968. Стр. 2 + XXII + 348.

Wagenlehner, Günter. Kommunismus ohne Zukunft. Das neue Parteiprogramm der KPdSU. 2. Auflage, Seewald Verlag, Stuttgart 1962. SS. 274.

Воздушные пути. Альманах IV. Нью-Йорк 1965. Стр. 304.

Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк 1967. Стр. 314 + 2.

Gasiorewska, Xenia. Women in Soviet Fiction, 1917-1964. University of Wiskonsin Press, Madison, Wis. 1968. Pp. XII + 288.

Горбачевич, Д. Два месяца в гостях у колхозников. Нью-Йорк 1967. Стр. 160.

Gumpel, Werner u. A. Die Sowjetwirtschaft an der Wende zum Fünfjahresplan. Rückblick und Ausblick. Günter Olzog Verlag, München-Wien 1967. SS. 125 + 3.

Замятин, Евгений. Лица. Международное Литературное Содружество, Нью-Йорк 1967. Стр. 6 + 322 + 1 вкл.

Isajiw, Wsewolod W. Causation and functionalism in sociology. Routledge and Kegan Paul, London 1968. Pp. VII + 158 + 14.

Корин, А. Советская Россия в 40-60 годах. 1968. Стр. 244 + 4.

М е й е р, Георгий. Сборник литературных статей. (Посмертное издание). Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1968. Стр. 314.

(Österreichische Gesellschaft für Politik und Wissenschaft. Verlag Kurt Wedl, Melk-Wien-München 1967. SS. 368 + 4 Bl. Fotos.

Politica estera. Rassegna di commenti, studi, notizie, documenti. Roma-Milano. Nr 1, gennaio 1968, pp. 32. Nr 2, febbraio 1968, pp. 32.

Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsbärettelse for år 1966. Helsingfors 1967. SS. 13.

Svenska Litteratursällskapet i Finland. Årsberettelse for år 1967. Helsingfors 1968. SS. 30.

Historiska och litteraturhistoriska studier. Vol. 42. Helsingfors 1967. SS. 283.

Historiska och litteraturhistoriska studier. Vol. 43. Helsingfors 1968. SS. 352.

**Редактирует Редакционная Коллегия**

**Главный редактор Н. Б. Тарасова**

**Ответственный секретарь Г. Т. Нащиваненко**

**Адрес редакции журнала «Границ»:**

**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15**

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»  
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,  
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,  
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ  
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Границы», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**P o s s e v - V e r l a g , 6 2 3 F r a n k f u r t a m M a i n , 8 0 , F l u r s c h e i d e w e g 1 5 .**

**ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

На российскую интеллигенцию, в особенности, на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»**

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

### БЕЛАЯ КНИГА ПО ДЕЛУ

**А. СИНЯВСКОГО И Ю. ДАНИЭЛЯ**

**Составитель АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ, Москва**

430 страниц НМ 8.50 или \$ 2.50

«Белая книга» вышла на немецком языке также в издательстве  
«Посев»

**WEISSBUCH IN SACHEN SINJAWSKIJ/DANIEL**

**416 Seiten**

**Possev-Verlag**

**DM 16.80 (\$ 4.50)**

### АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

#### СОЧИНЕНИЯ

Однотомник. 2-е издание, 1968. Стр. 320. НМ 18.00 (\$ 4.50)

**SOLSHENIZYN ALEXANDER** ...den Oka-Fluß entlang

Fünfzehn Kurzgeschichten und die Erzählung „Matrjona Hof“. Aus dem Russischen übersetzt von Mary von Holbeck und Oscar Enröt. 1965.  
80 Seiten. DM 5.80; \$ 1.50.

Вышли из печати и поступили в продажу новые книги

### БУЛАТ ОКУДЖАВА

#### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Третье, дополненное и исправленное издание

Вступительная статья Н. Тарасовой. Портрет автора и рисунок на суперобложке работы Я. Трушновича.

В книге: Будь здоров, школьник (повесть); Промоксис (рассказ); Стихи и песни о войне (23 произведения); Стихи и песни о жизни и людях (83 произведения); Стихи и песни о вере, надежде и любви (84 произведения).

В книге собраны произведения, которые были напечатаны в официальной советской прессе, а также максимально возможное количество их из ходящих по рукам в Советском Союзе тетрадей «Самиздата». Книга в твердом матерчатом переплете и в суперобложке.

В книге 320 стр.

Цена 18.50 ДМ или 5-- ам. долл.

### В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

вышла из печати и поступила в продажу брошюра

**ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АН СССР А. Д. САХАРОВ  
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОГРЕССЕ, МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ**

А. Д. Сахаров — автор брошюры — родился в 1921 году, в 1942 году окончил Московский университет и с 1945 года стал работать в Физическом институте Академии наук СССР им. П. Н. Лебедева. Очень молодым — в 32 года — он был выбран в академики (1953 г.). Его работы в области теоретической и ядерной физики привели к созданию водородной бомбы в СССР, почему он заслуженно считается на Западе советским «отцом» этого страшного оружия. За его работы ему было трижды присвоено звание Героя социалистического труда, присуждены Государственная и Ленинская премии.

Этот исключительно интересный, яркий по новизне и смелости мысли труд академика А. Д. Сахарова увидел свет в июне 1968 года и в виде брошюры распространяется в России силами знаменитого «Самиздата».

В брошюре 60-64 страниц Цена 4,50 ДМ или 1,25 доллара

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

# Г Р А Н И

Начиная с января 1968 года, подписная плата на 4 номера журнала «Границ» (в год), включая пересылку, устанавливается следующая:

### В США и Канаде

При подписке непосредственно из издательства — дол. 7.—  
При подписке через представителей и книжные магазины  
— дол. 10.—

### В Германии и во всех других странах

При подписке непосредственно из издательства — НМ 26.00  
При подписке через представителей и книжные магазины —  
НМ 30.00

### Цена в розничной продаже с 1 января 1968 г.

Цена отдельного номера в США и Канаде — дол. 2.50  
Цена отдельного номера в Германии и во всех других странах —  
НМ 7.50 или эквивалент в местной валюте.

Подписчикам, внесшим подписную плату на 1968 г. до 31. 12. 67 г.,  
журнал будет высылаться до конца этой подписки на прежних  
условиях.

Подписную плату следует посыпать:

почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по  
адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M 80, Flurscheideweg 15,  
а также банковским переводом:

Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640.

Из Германии подписную плату можно переводить и на  
Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.

Отдельные номера журнала можно выписывать из издательства по  
указанному выше адресу, а также через книжные магазины.

КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ  
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.